



**Звезда Инеиста
в “Рождественской драме”
Димитрия Ростовского**

*С. И. НИКОЛАЕВ,
кандидат филологических наук*

Многие русские произведения первой четверти XVIII века, особенно относящиеся к сфере официальной культуры, сочетают в себе дидактику с просветительством и с излишней барочной учёностью. Это поистине парад гуманитарного знания, в котором не последнее место занимали астрология и астрономия. Похвальным словом во славу этих наук звучит монолог “Любопытства звездочётского” в “Рождественской драме” Димитрия Ростовского (1702). В частности, в этом монологе перечисляются различные созвездия:

Виджу же в своём чину дождевные пады.
Являющи сущу такожде Плеады.
Сих быти неразличных аз да созерцаю.
Имена их подробну сице нарицаю:
Сия подседми на два разделенныи чины
Являющи сушу и дожда пучины:
Пасифо, Пифо, Тихе, Евдор, Амвросиа,
Коронис и Плексаврис – дождевны суть сия:
Електра, Алкиона, Мая, Астеропе,
Келена, Танесета, Инеиста, Меропе, –
Сиа вторы седмица сущу изъявляет.

(Русская драматургия последней четверти XVII и начала XVIII века. М., 1972. С. 238).

Эта несколько тяжеловесная учёность не так уж сложна для понимания, но всё-таки она не нуждается в дополнительном усложнении со стороны издателя текста. В данном отрывке речь идёт о двух созвездиях, Гиадах и Плеядах. Загадочные “дождевные пады” не требуют осмысления и даже издательской конъектуры – в рукописи, по которой издавалась “Рождественская драма” в XIX–XX веках, слово “Гиады” читается отчётливо (Российская национальная библиотека, шифр:

Q.XIV.28. Л. 14 об.). Само сочетание “дождевнии Гиады” плеонастично, так как по-гречески “Гиады” и означает “дождливые” (это созвездие появлялось с началом периода дождей).

Сложнее обстоит дело со второй “седмией” звёзд, с Плеядами. Несмотря на указание автора, “Любопытство звездочётское” перечисляет восемь звёзд. Плеяды включают (в современной русской транскрипции) Майю, Электру, Тайгету, Алкиону, Келено, Стеропу и Меропу. Остаётся лишней “Инеиста”. Рукопись драмы в данном случае не помогает, в ней читается то же самое. И её переписчика винить не стоит, он точно скопировал со своего оригинала слово, которое ему, вероятно, показалось сходным с соседними именами собственными. Разгадка несуществующей звезды разъясняется последней звездой, Меропой. Согласно мифу, Мeroпa в отличие от сестёр вышла замуж за смертного и, стыдясь своего поступка, постоянно прячется, потому-то она почти не видна на небосклоне. Вот почему Димитрий Ростовский назвал её ненастоящей, неистинной, ложной (ср. др.-русс. *истый* – истинный, подлинный, настоящий: Словарь русского языка XI–XVII веков. М., 1979. Вып. 6. С. 339). Таким образом, вместо имени несуществующей звезды Инеисты получается осмысленное словосочетание “ине иста Мeroпe”.

В той же строке уже издательской конъектуры, которая не решает-ся правильным словоразделом, требует имя звезды Тайгеты. Написание “Танесета” не только отличается от принятого, но и добавляет лишний слог в строку, что нарушает 13-тисложник монолога. Исходя из этого, издатель драмы вправе исправить “Танесета” на “Тайгета”, оговорив, конечно, это исправление в научном издании.

Звезда “Инсита” – типичный пример “подпоручика Кижe”, которые нередко встречаются в изданиях древнерусских литературных памятников. В данном случае ошибка выявилась “арифметическим” путём (число имён превысило число звёзд), но получила текстологическое объяснение (Памятники литературы Древней Руси. XVII век. Книга третья. М., 1994. С. 419; см. также: Валеев Г.К. Древнерусские подпоручики Кижe // Русская речь. 1981. № 2). Надо признать, что это относительно благополучный пример из текстологической практики, поскольку иногда ошибки древних переписчиков дают исследователям материал для создания филологических фантомов, разобраться с которыми значительно сложнее.

Санкт-Петербург

Писатель и слово

Кто есть кто в науке о Пушкине

МИХАИЛ ФИЛИН

«На очередном заседании Пушкинского Общества с интересным, но весьма спорным сообщением на тему: "Демократическая Россия и Пушкин" выступил представитель так называемого "народного пушкиноведения" Я. Прения были довольно оживлёнными. Пушкинианец К. подверг доклад суровой аргументированной критике. Ему возражал пушкиновец Х», который привёл ряд весомых текстологических доводов. Взявший слово вслед за пушкиноведом пушкинолюб Б.-В. отметил, что ему равно близки точки зрения и Я., и К., и Х.,*

* Дабы не возникло недоразумений, спешим уведомить читателя, что автор данной статьи не присутствовал на том собрании. Да он и не считает себя пушкиноведом.

ибо в основе каждой провозглашённой позиции лежит неприкрытая приязнь к “солнцу русской поэзии”. Завершая выступление, Б.-В. прочитал собственные стихи:

Хоть я в науке новобранец
И послужной мой список чист.
Во мне сидят пушкинианец,
Пушкиновед и пушкинист;

И представителю народа
Там уваженье и почёт...
Во мне во всяко время года
Беседа мирная течёт.

Кстати, едва ли не центральным событием вечера стало появление на публике маститого пушкиниста Ш. Все убедились, что странные сближения действительно бывают: ведь Ш. осведомился у стоявшего поблизости аспиранта Ю. о местоположении н...ка. Затем пушкинист благосклонно выслушал речи собравшихся.

Так был сделан ещё один важный шаг вперёд в деле познания Пушкина».

Именно такое сообщение появилось недавно в альманахе “Первая любовь”, в разделе “Хроника”. И лучше бы оно не появлялось вовсе – ведь на редакцию альманаха обрушился настоящий поток писем. Были среди них и возмущённые: например, некоторые читатели потребовали опубликовать немедленное опровержение, так как, по их сведениям, почтенный К. – вовсе не пушкинианец, а чистейшей воды пушкиновед. Пушкинолюб Б.-В. попросил, чтобы при последующих перепечатках слово “новобранец” в первой строке заменялось на многогочие; после же стихов непременно ставилась дата: “19 октября”. Были и другие нелицеприятные отклики; так, коллектив авторов попенял редакции, что сцена появления их учителя Ш. описана слишком сухо и невнятно. И всё же преобладали в почте письма растерянные и недоуменные. Читатели явно не могли разобраться, чем пушкиновед отличается от пушкинианца, а тот в свою очередь – от пушкинолюбца или представителя “народного пушкиноведения”. Стихи Б.-В. запутали читателей окончательно ...

И тогда главный редактор альманаха “Первая любовь” пушкинианец Н. поручил автору этих строк успокоить общественное мнение. Выбор был не случаен: ведь хроникальную заметку о том памятном заседании Пушкинского Общества писала та же рука. Ведала ли сия длань, что творила? – Да, безусловно. Вот только не удосужилась сопроводить свою “славную хронику” необходимыми комментариями.

Спешим исправить досадную оплошность. И пусть нижеследующий

текст наш любезный читатель воспримет не только как разъяснение, но и как запоздалое извинение недогадливого автора:

*Определяйте значение слов, и
вы избавите свет от полови-
ны его заблуждений.*

А.С. Пушкин

Как величать человека, избравшего для себя единственным или главным делом, а то и приятным времяпрепровождением, изучение жизни и творчества Пушкина? И не только изучение, это такое радение в тиши кабинета, но труд, сопровождаемый периодическими выступлениями в печати и на симпозиумах, посвящённых поэту. Казалось бы, вопрос наивен, однако – удивительное дело! – вразумительного ответа на него до сих пор не дано. Науковеды и прочие компетентные лица сплошь и рядом прибегают к различным толкованиям. И получается, что уже более полутора веков о Пушкине пишут, говорят и спорят лица, чей статус доподлинно не установлен, своеобразные бомжи науки. Последние слова – отнюдь не насмешка над этими почтенными людьми, а горькое и мужественное смотрение правде в глаза.

Предвидим возражение: мол, терминологическая неопределённость, быть может, имеет место, однако же она не губительна; в конце концов есть у изучающих Пушкина проблемы и поважнее. Наверное, есть – ответим мы. И всё же, согласитесь, учёному спокойнее на душе, когда он будет знать, *что* за сочинение вышло из-под его пера, или, допустим, *кто* написал и тиснул зубодробительный отзыв о взлелеянном дитище. Да и то сказать: общеизвестно, что мощь любой науки характеризуется, в числе прочего, и уровнем развития её понятийного аппарата. Репутация науки о Пушкине безупречна, лишь путаница в дефинициях похожа на маленькое пятнышко, или, если угодно, на сломанный ноготь столичного денди. А о красе ногтей, как нас учили, подобает думать ежечасно.

Подумав же, дерзаем вынести на суд просвещённой публики своего рода “штатное расписание” лицам, издавна толпящимся у подножия дорогого для всех Памятника. Впрочем, Памятник сей был воздвигнут в 1880 году, а до того знаменательного дня люди собирались на пустыре, предназначенном для опекушинского монумента. Надо ли говорить, что этот недавно установленный факт не меняет сути дела.

“Определяйте значение слов”, – сказал наш поэт. И тогда получается вот что.

Первая (во всех смыслах) категория лиц, изучающих Пушкина, это – *пушкинисты*. Они – настоящие олимпийцы, верховные жрецы науки. Мы убеждены, что пушкинист – вовсе не профессия, как думают некоторые, а *почётное звание*. Звание, которое присваивается самым выдающимся исследователям, обычно по совокупности их трудов. Иногда, однако, пушкинистами становятся за одно-единственное гран-

диозное открытие. Например, среди ныне здравствующих претендентов больше всего шансов попасть в пушкинисты у Л., однозначно доказавшего, что Л.Д. Троицкий был родственником Пушкина; особая заслуга Л. состоит в том, что им был поднят и решён положительно вопрос не только о кровном, но и *духовном* родстве двух великих соотечественников.

Чаще всего пушкинистами становятся к концу жизни; порою же признание приходит ещё позже. Поэтому тем, кто не прошёл земную жизнь до половины, бессмысленно сетовать на притеснения и интриги: закон есть закон. Коснувшись юридической стороны дела, отметим, что присвоением этого почётного звания не ведаёт никакой официальный орган или тайный синклит наподобие масонской ложи. Процедура скорее похожа на некое необъяснимое таинство: ещё вчера вы имели честь обменяться рукопожатием с простым седовласым человеком, но минула ночь, отлепетала парка – и вы склоняетесь в почтительном поклоне перед настоящим живым пушкинистом. Кстати, типологически близкий случай описан Пушкиным в знаменитом романе в стихах “Евгений Онегин”:

Проснулся раз он патриотом ...

(Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 16 т. М.-Л., 1937. Т. VI. С. 476; далее – только том и стр.).

Подсчитать, сколько людей испытали столь радостное пробуждение, сиречь пробуждение пушкинистом, невозможно. Зато известно, что *первым* пушкинистом был П.В. Анненков. Тот, памятуя о пушкинских современниках-декабристах, разбудил своих последователей. Те развернули широкую деятельность. Итоги деятельности наверняка будут отражены в “Пушкинской энциклопедии”. Хочется верить, что там же наконец опубликуют и *полный* список выявленных пушкинистов. Не приходится сомневаться, что такой уникальный перечень превзойдёт по количеству упоминаемых имён другой популярный у публики список, “дон-жуанский”, и будет читаться с неослабевающим интересом.

Больше всего претендентов на звание пушкинистов пестуется в среде *пушкиноведов*. Как учит незаменимый В.И. Даль, слово “ведать” означает: знать, иметь о чём сведение и т.д. Пушкиноведы и в самом деле знают о Пушкине очень много и считают свои познания универсальными, а учение – единственно верным.

Это адепты так называемой академической традиции, ориентированной по преимуществу на скрупулёзное изучение рукописей и дотошное комментирование текстов. Здесь их мастерство нельзя превзойти. В качестве примера деятельности пушкиноведов приведём хотя бы пресловутую историю с “ц.н.”. 8 марта 1834 года поэт оставил в своём дневнике загадочную запись: “Вчера был у Смирновой, ц.н. – анекдо-

ты". Ясно, что два зашифрованных слова чрезвычайно важны для уяснения подлинной биографии Пушкина. Поэтому несколько поколений пушкиноведов сосредоточили на буквах "ц." и "н." сугубое внимание. Шаг за шагом они приближались и продолжают приближаться к разгадке. Сперва было установлено, что поэт имел в виду "цициановские анекдоты", то есть небезопасные политические анекдоты, сообщённые князем Д.Е. Цициановым. Позднее другой пушкиновед уточнил, что речь идёт о "царских нескромных анекдотах, то есть касающихся царской фамилии". Но пушкиноведение не остановилось на достигнутом. Было убедительно доказано, что беседа у А.О. Смирновой-Россет коснулась "царских наложниц". Это открытие позволило пушкиноведам подняться на новую ступень осмысления как "ц.", так и "н.". Закономерным следствием такого подъёма стала сенсация, преданная гласности на страницах книги "Истина сильнее Николая I...". Оказывается, Пушкин провёл у своей приятельницы "целую ночь". Надо ли объяснять, какой переворот в умах вызвало это сообщение: ведь прежде было принято думать, что по ночам поэт предавался *только воспоминаниям*, причём занимался этим не без отвращения. И вот – настоящий прорыв в науке! Прорыв наверняка не последний – две скромные буквы таят в себе множество новых "открытий чудных"

Завершая характеристику пушкиноведов, должно опровергнуть одно расхожее мнение. Их недруги почему-то полагают, что философское и эстетическое осмысление текста у пушкиноведов отсутствует или, по крайней мере, занимает подчинённое положение. А злейший враг этой категории учёных некий К.И. Зайцев дописался аж до такого: "Возникла в своё время целая наука о Пушкине, числящая немало замечательных знатоков и давшая существенные положительные результаты. Но в её составе, и это чем дальше, тем больше, развивается такая наукообразная мертвечина, что от Пушкина остаётся своего рода живой труп". Не будем пускаться в ничемную полемику с хулителем уважаемых пушкиноведов. Достаточно заметить, что сей харбинский профессор выск сам себя. Мало кто знает, что вскоре после появления в печати вышеуказанных инвектив К.И. Зайцев подался в монахи, где был наречён Константином. Такой крутой поворот в жизни можно объяснить только одним: муками совести грешного перед пушкиноведением зоила.

Итак, пушкиноведы считают себя единственными правоверными исследователями наследия Пушкина. Но с их претензиями едва ли соглас-

* Автору этой статьи случайно удалось узнать, что летом 1831 года В.А. Жуковский в письме к А.И. Тургеневу назвал интересующую нас особу "царскосельской невестой". Увы – покорный слуга читателя не пушкиновед; ему негоже вмешиваться в текстологическое священнодействие.

ны пушкинианцы, хотя последние охотно признают, что пользуются некоторыми достижениями пушкиноведения. И тут же добавляют: эти достижения – всего лишь необходимое *подспорье* для наших построений. Иной пушкинианец может выразиться и резче: где кончается пушкиноведение – там начинается пушкинианство. Понятно, что здесь, как и в любом афоризме, сокрыта гипербола.

Пушкинианцы уверены, что академическая методология (в том виде, как она сформировалась) не способна приблизить нас к постижению тайн духовного пути поэта. По их мнению, она слишком рациональна и поверхностна. Поверхностна в том смысле, что инструментарий пушкиноведения не позволяет проникнуть в глубины текста, заглянуть в развешивающиеся смысловые бездны. Методология же пушкинианства – медленное и вдумчивое *чтение* Пушкина, поиск метафизических основ каждого встреченного слова. Пушкинианец не “ведает” творения Пушкина, но в каком-то смысле *отдаётся* им и, отдаваясь, испытывает райское наслаждение, настоящий катарсис.

Конечно, при таком подходе проблемы текстологии отступают для пушкинианца на задний план. И всё же именно проповедуемые пушкинианством принципы позволяют иной раз разрешить ту или другую текстологическую головоломку. Например, в легендарной десятой главе “Евгения Онегина” есть такая строфа:

Я всех уйму с моим народом
Наш царь в конгрессе говорил
.....
А про тебя и в ус не дует
Ты А. холоп (VI, 523).

Заключительный стих у пушкиноведов принято читать так:

Ты александровский холоп...

Ничтоже сумняшеся пушкиновед скажет, что речь идёт о зловещем А.А. Аракчееве. Пушкинианец же и здесь отдастся чудом сохранившемуся тексту и после долгих раздумий предложит иную версию:

Ты аракчеевский холоп...

Вот краткое обоснование пушкинианца. На конгрессе Священного Союза император Александр I всячески восхвалял непобедимый русский народ, но на самом-то деле судьба простолюдинов была ему совершенно безразлична, чем умело воспользовался коварный временщик, закабаливший народ-победитель. Кроме того, добавит пушкинианец, в дошедших до нас фрагментах Александр I всегда обозначался другой буквой.

Вообще-то пушкинианец редко заглядывает в эту главу, но коли уж откроет шестой том академического Пушкина, то взор его поневоле задержится на следующих стихах:

Друг Марса, Вакха и Венеры
 Им резко Лунин предлагал
 Свои решительные меры
 И вдохновенно бормотал
 Читал свои Нозли Пушкин
 Меланхолический Якушкин
 Казалось молча обнажал
 Цареубийственный кинжал
 Одну Россию в мире видя
 Лаская в ней свой идеал
 Хромой Тургенев им внимал
 И слово: рабство ненавидя
 Предвидел в сей толпе дворян
 Освободителей крестьян (VI, 524).

В хрестоматийных строках пушкинианец тотчас же выделит одну:

Меланхолический Якушкин
Казалось молча обнажал (курсив наш. – М.Ф.)
 Цареубийственный кинжал ...

Подвижник пушкинианства неоднократно убеждался, что у Пушкина был абсолютный поэтический слух и вкус. Поэтому в выделенном стихе пушкинианец способен узреть ключ к тайнописи поэта. Он рассуждает так. Незримый кинжал в руке заговорщика мог видеть любой человек с пылким воображением: ведь эпоха располагала к романтическим и героическим галлюцинациям. Но подобное видение могло возникнуть только в определённом хронотопе. Необходимо было лишь одно – *находиться рядом* с И.Д. Якушкиным в означенный миг. И тому, кто глядел на молчаливого декабриста, начинало кое-что “казаться”. Мираж в виде оазиса с вождельным родником мелькнёт перед погибающим путником *только* в пустыне. Так и здесь. Вывод пушкинианца смел и неоспорим: десятая глава “Онегина” написана от лица человека, *бывавшего* на сходках Союза Благоденствия!

Пушкинианцы тоже могут быть признаны пушкинистами. Правда, путь на Олимп для них гораздо более трудный и долгий, нежели для пушкиноведов. Прискорбно, но до сих пор не присвоено почётное звание И.А. Ильину, П.Б. Струве, С.Л. Франку... Много препятствий по дороге к вершине повстречал В.Ф. Ходасевич*, разделили его участь и

* Многие и поныне не могут смириться с тем, что он – пушкинист. Так, недавно вышедшая книга С. называется: “Пушкинист Владислав Ходасевич”. Посвящённые тут же поняли, что автор и не думает причислять своего “героя” к пушкинистам: ведь хорошо известно, что те упоминаются в печати непременно с *двумя инициалами*; а панибратское “Владислав” пригодно лишь для поэта.

другие страдальцы. Но пушкинианцы не падают духом и продолжают карабкаться по крутому склону. “Выше, выше” – их всегдашний девиз. Да и отступать им некуда: доказано, что пушкинианец в силу своей природы не способен переродиться в пушкиноведа. Можно, однако, предположить, что такой приговор не особенно удручает пушкинианца.

Пришла пора обратиться к следующей группе лиц, вращающихся вокруг нашего “солнца”. Это – *пушкинолюбы*. Яркий образчик пушкинолюбца – персонаж очерка замечательной Н. Тэффи; тот самый персонаж, который, обращаясь к даме своего сердца, несравненной Вере Петровне, говорил:

Люблю тебя, Петра творенье ...

Таким образом, натуральный пушкинолюбец и в самые интимные минуты жизни не изменяет своему кредо, остаётся верен пушкинолюбию.

Пушкинолюбы скромны: они не хватают звёзд с неба, не стремятся разрешить разом все “проклятые вопросы”. Они пишут и говорят о том, сколь велик Пушкин и как они любят поэта. Пишут искренно, но иногда и по обязанности, к юбилеям и просто так, слащаво и в тонах мужественных, подчас весьма талантливо, случается – не очень. Думается, что даровитое произведение пушкинолюбца не менее значимо, чем труд пушкиноведа или пушкинианца; это правило распространяется и на стихи, поэтическую Пушкиниану. Плохо, однако, то, что пушкинолюбам заказана дорога в пушкинисты. Поэтому они вынуждены добираться туда транзитом, через промежуточное посвящение в пушкинианцы или – впрочем, довольно редко – отметившись у пушкиноведов. Но высокая любовь вполне может обойтись без громких титулов, и пушкинолюбам, как установлено, не свойствен комплекс черты оседлости. Тем не менее три или четыре пушкинолюбца стали лауреатами Нобелевской премии, чего пока не удалось достичь даже пушкиноведам.

Выскажем, к слову, мысль поистине крамольную. Так как для получения помянутой премии необходим предварительный вселенский скандал, то наибольшие шансы попасть в список бессмертных, пожалуй, у тех, кого мы относим к последней категории в нашей классификации – то бишь у *представителей “народного пушкиноведения”*. Они уже изрядно на шумели, эти яростные дилетанты пера, воздвигли себе грандиозный памятник из тысяч разбитых “ундервудов” и “эрик”, но по-прежнему не слишком привечаются профессионалами. Что поделаешь – ржавчина снобизма безжалостно разъедает любую науку, а в Стокгольме извечно приходится идти сквозь строй раздосадованных служек гордыни...

Кому-то может показаться, что сближение опусов дилетантов с пушкиноведением таит в себе едва прикрытую иронию по отношению к записным пушкиноведам, но это не так. Да, академическое пушкиноведение привлекает “народников” *в первую очередь*, что наводит на

размышления, но дилетанты вторгаются и во владения пушкинианцев; не брезгают они и ремеслом пушкинолюба. Мещане от науки способны произвести переполох повсюду, однако должно признать, что некоторые их опусы – вовсе даже и не опусы, а полноценные труды, имеющие непреходящее значение. Свежий, не затуманенный историографической пеленой взгляд “народника” порою обнаруживает то, что лежит подле нас, но нами не замечаемо. Казалось бы, ну что с того, что Пушкин однажды с усмешкой обмолвился:

Латынь из моды вышла ныне (VI, 7).

Сколько раз мы читали и перечитывали этот стих – а что толку? Выхолостили его потаённый смысл, и всё... К счастью, тут появляется на сцене “народник”. Он сразу смекает, что в этой строчке спрятана разгадка странной фамилии заглавного героя романа в стихах. Поэт изящно воспользовался невежеством современников в области латинского языка. Остальное для “народника”, произнёсшего догадкой, уже просто. И перед удивлённой публикой предстаёт очевидное невероятное:

ОНЕГИН
ОН – ЕГИН
ОН – ЕГО,

что в переводе означает сногсшибательное:

ОН – Я.

И многие “противоречия” в романе сразу разъясняются. Однако “народник” не обольщается первым громким успехом. У него на очереди – фамилия главной героини, Татьяны (в девичестве Лариной). Уж как только не объясняли её происхождение! А “народник” в одночасье разрубает ономастический узел. На наших глазах рождается ещё одно маленькое чудо:

ЛАРИНА
Л – АРИНА

Вот оно что: оказывается, Пушкин и здесь увековечил свою няню, милейшую Арину Родионовну Яковлеву. Ну что стоило любому умудрённому пушкиноведу расшифровать нехитрую тайнопись и стать пушкинистом? Ан нет – пришлось ждать явления представителя “народного пушкиноведения”. И он пришёл, увидел, *прочитал*.

Дабы не утомлять нашего читателя, дополним рассказ о “народниках” лишь одним впечатляющим примером. Известно, что обращение к десятой главе “Онегина” – для них подлинные именины сердца. Сов-

сем недавно ими было сделано ещё одно открытие, последствия которого не ясны до конца. Речь идёт о таких стихах:

Р.Р. присм. снова
И пуше царь пошёл кутить
Но искра пламени иного
Уже издавна может быть (VI, 523).

И вновь злосчастная латынь – “Р.Р.” ... Предлагались различные варианты дешифровки. Например:

Россия присмирела снова...

Или:

Народы присмирели снова...

Были и другие гипотезы, иногда весьма изощрённые, однако совсем не убедительные. Между ними и Нобелевской премией – пропасть пошире Геллеспонта. Зато у “народника” виза на путешествие в шведскую столицу, кажется, уже в кармане. Ведь он не поленился проникнуть в музей А.С. Пушкина в Царском Селе. Пришел, увидел множество экспонатов, *нашёл* среди них нечто поразительное...

Нашёл две серебряные ложки. Они давно хранятся в музее, но, похоже, так и не побывали на столе исследователя. Одна из них, *разливательная*, сделана московским мастером в 1796 году. Вторая – *столовая*, её работал петербуржец в 1809 году. Эти даты выгравированы на предметах. Но есть на серебряных сокровищах и вензели. Проницательный читатель уже наверняка сообразил, какие. Конечно же, те самые, заветные – “Р.Р.”. Нет никаких сомнений, что новонайденные ложки как-то связаны с десятой главой “Онегина”. Особенно вторая, столовая, созданная при императоре Александре I: ведь в X песни речь идёт именно о той эпохе:

Властитель слабый и лукавый
.....
Над нами царствовал тогда (VI, 521;
курсив наш. – М.Ф.).

Тогда и появился на ложке загадочный вензель. А теперь “народник”, наш с вами современник, – в полушаге от заслуженной славы.

На этой ноте можно было бы и закончить рассуждение о том, кто есть кто в науке о Пушкине. Не скроем, что недочёты предлагаемой классификации очевидны. К примеру, за основу принудительного размежевания не удалось взять какой-либо единый критерий: такового, увы, не обнаружено. Нельзя рассматривать данную классификацию и как иерархию лиц, вплотную занимающихся Пушкиным. Плохо и то, что в предлагаемом “штатном расписании” не нашлось места набирающим силу представителям неформальных групп, среди которых особенно выделяется недавно возникший Клуб любителей проглоток с

Пушкиным; по популярности приближается к нему Движение за завершение всех произведений Пушкина (ДЗВПП). Не учтено в классификации и обозначившееся разделение специалистов на либералов-западников и консерваторов восточного обряда. Всё говорит о том, что у порога нас ждёт долгая и напряжённая работа. Но всё же думается, что переступить сей порог лучше не в терминологических потёмках, а при тусклом свете вышеописанной классификации. Никто не оступится, не расшибёт свой высокий лоб, да и не протиснется поперёк батек-пушкинистов.

Ибо всякий научный сверчок, потративший годы и десятилетия на Сверчка, будет знать свой шесток.

И последнее. Наша земля испокон века щедра на умельцев. И мы верим, что уже вскоре она уродит новых, хороших и разных, исследователей Пушкина. В те часы, когда ложатся на бумагу эти строки, схватки становятся всё ощутимее. Скоро, скоро огласится наука и её окрестности жизнеутверждающим криком молодого племени!

Предвкушая счастливый миг, поспешим, коллеги, потесниться на журнальных страницах...

Ещё раз о месте книги стихов
как “большой формы”
в поэтической культуре русского символизма

О.А. ЛЕКМАНОВ,
кандидат филологических наук

Общеизвестно, что роль книги стихов в жанровой системе русского символизма была центральной. “Репутации представителей этой литературной школы, – писал А.В. Лавров, – складывались, изменялись, возрастали и ставились под сомнение в прямой зависимости от того, какую судьбу в восприятии современников претерпевал очередной сборник стихотворений того или иного автора, претендовавший, как правило, на внутреннюю художественную цельность и структурную организованность” (Лавров А.В. О книге Андрея Белого “Стихотворения” // Андрей Белый. Стихотворения. М., 1988. С. 533).

В этой заметке мы попытаемся ответить на кажущийся частным, но, тем не менее, существенный вопрос: почему именно книга стихов, стараниями символистов, выдвинулась (по выражению Ю.Н. Тынянова) с “периферии” – в “центр” литературного процесса? До сих пор, насколько нам известно, подобным вопросом задавался лишь Л.К. Долгополов в своей монографии “На рубеже веков”.

Нельзя сказать, что XIX век относился к книге стихов с пренебрежением. Помимо сборников, в которых стихотворения традиционно группировались по хронологическому, жанровому, тематическому и жанрово-тематическому признакам, он дал такие новые, тщательно продуманные и составленные образцы поэтических книг, как “Сумерки” Е. Баратынского, “Стихотворения Н. Некрасова”, “Вечерние огни” А. Фета.

Книга “Сумерки” занимает в этом ряду особое место. Она в наибольшей степени повлияла на представления об идеальном авторском собрании стихотворений, выработанные поэтикой модернизма. В письме к П.А. Плетнёву Баратынский сам подметил основное отличие “Сумерек” от предыдущих и многих последующих опытов в подобном роде: “Не откажись написать мне в нескольких строках твоё мнение о моей книжонке, хотя все пьесы были уже напечатаны, собранные вместе, они должны живее выражать общее направление, общий тон поэта” (Русская старина. 1904. № 6. С. 521–522). За исключением посвящения “Князю Петру Андреевичу Вяземскому”, открывающего книгу, все остальные стихотворения “Сумерек” изначально были независимы друг от друга и создавались поодиночке. Они представляли собой как бы самостоятельные маленькие государства, не желающие носить наименование “фрагмент” или “отрывок” и лишь мудрая “политика” объедини-

теля-поэта заставила их, наладив между собою тесные связи, слиться в новое образование, в новое единство. О подобном, возникающем как бы помимо воли самого автора, но отнюдь не случайном, – закономерном единстве замечательно написал Марсель Пруст, когда рассуждал о “Человеческой комедии” Бальзака: “То было объединение уже написанных книг, объединение не искусственное, иначе оно рассыпалось бы в прах, подобно стольким сериям произведений посредственных писателей, которые, при мощной поддержке заглавий и подзаголовков, делают вид, что у них единый сверхчувственный замысел. То было единство не искусственное и, быть может, более реальное в силу того, что мысль о нём родилась (...) когда единство было найдено и оставалось только слепить отрывки; единство, ничего о себе не знавшее, следовательно, жизнеспособное и не схематичное, не исключавшее разнообразия, не охлаждённое исполнением” (Пруст Марсель. Пленница / перевод Н. Любимова. М., 1990. С. 162–163).

Таким образом, создание книги стихов делилось на два основных этапа. Первоначально поэт писал кипу стихотворений, между которыми возникали как бы случайные, “ничего о себе не знающие” связи. Эта “случайность” подчёркивалась, например, Александром Блоком, когда он сообщал В.Я. Брюсову о “неожиданно” написанной им книге “Снежная маска”: “Всё это – стихи, нигде не напечатанные и написанные залпом на этих днях, пока неожиданные, и, во всяком случае, новые для меня самого” (Блок А.А. Собр. соч.: В 8 т. М.-Л., 1963. Т. 8. С. 174). На втором этапе кипа стихов превращалась в книгу стихов: автор уступал место составителю. Перед поэтом-составителем стояла задача выявить и, располагая стихотворения в определённой последовательности, подчеркнуть изначально существовавшее единство.

Сплав *интуитивного* (“случайно”, “независимо” от воли автора возникающее единство между стихотворениями) с *рациональным* (последующее сознательное выявление и подчёркивание возникшего единства), столь ценимый поэтикой символизма, преуспевшей в познании непознаваемого, неизбежно должен был выдвинуть книгу стихов в число ведущих жанров “серебряного века”. От “Сумерек” Баратынского через “Вечерние огни” Фета путь книги стихов пролегал к “Ночным часам” Блока. Новый этап развития книги стихов как “большой формы” обозначило “утро акмеизма”. Но это тема для специального исследования.

ПАМЯТИ УШЕДШЕГО ПОЭТА



ИОСИФ БРОДСКИЙ

(24 мая 1940, Ленинград – 28 января 1996, Нью-Йорк)

* * *

Мои слова, я думаю, умрут,
и время улыбнётся, торжествуя,
сопроводив мой безотрадный труд
в соседнюю природу неживую.
В былом, в грядущем, в тайнах бытия,
в пространстве том, где рыщут астронавты,
в морях бескрайних – в целом мире я
не вижу для себя уж лестной правды.
Поэта долг – пытаться единить
края разрыва меж душой и телом.
Талант – игла. И только голос нить.
И только смерть всему шитью – пределом.

1963

Надпись на книге

Когда ветер стихает и листья пастушьей сумки
ещё шуршат по инерции или благодаря
безмятежности – этому свойству зелени –
и глаз задерживается на рисунке
обоев, на цифре календаря,
на облигации, траченной коллизиями
ноликов, ты – если ты был прижит
под вопли вихря враждебного, яблочка,
ругань кормчего –
различишь в тишине, как перо шуршит,
помогая зелёной траве произнести “всё кончено”.

[1993]



“Чтобы слова не утекали как вода...”

О языке произведений А. Солженицына

Г.П. СЕМЁНОВА,

кандидат филологических наук

А.И. Солженицын принадлежит к тому нередкому в отечественной литературе типу писателей, для кого Слово равно Делу, Нравственность состоит в Правде, а политика – вовсе и не политика, а “сама жизнь”. По мнению некоторых критиков, это-то и уничтожает “мистическую сущность искусства”, порождая перекося на политическое плечо в ущерб художественному. В лучшем случае такие критики говорят: “При однозначном восхищении Солженицыным-человеком я, к сожалению, невысоко ставлю Солженицына-художника”. Впрочем, есть и другие, что “невысоко ставят” его и как мыслителя, как знатока российской истории и современной жизни и даже как знатока русского языка. Это не значит, будто на отношении к этому писателю подтверждается известное русское правило: в отечестве пророка нет. Как раз

именно он и выдвигается многими на такую роль, причём, кое-кто считает, что время для критики А. Солженицына не наступило и, возможно, не наступит. Вот так, по-русски, не знает сердце середины: или – или...

Известно, что одна из постоянных тревог писателя – о том, почему люди часто не понимают друг друга, почему не каждое слово – художественное или публицистическое – доходит до сознания и сердца, почему иные слова уходят, не оставив следа. Отчасти он сам ответил на этот вопрос, сказав в “Нобелевской речи” (1970), что правдивое слово не должно быть безликим, “без вкуса, без цвета, без запаха”, ему пристало соответствовать национальному духу, этой праоснове языка.

В поиске и отборе таких слов, в изменении словообразовательных элементов у наиболее “затёртых” из них – одна из немаловажных составляющих его творчества, его поэтики. Размышляя, к примеру, о тех, кто “самозабвенно или опрометчиво” называет себя интеллигенцией, по существу ею не являясь, он предлагает называть их “образованщиной”, что, с его точки зрения, “в духе русского языка и верно по смыслу” (“Образованщина”). Употребительный вариант “интеллигентщина” был отвергнут, вероятно, потому, что смысл исходного понятия “интеллигентность” шире, чем смысл, заключённый в понятие “образованность”, и, значит, существенно “интеллигентщина” не выразило бы того, что хотел сказать автор.

При установке на гармоничное, адекватное языковое оформление всякого содержания А. Солженицын порой использует разный шрифт, чтобы выделить наиболее значимые, ключевые понятия и термины, связанные с темой, специфические слова и выражения, комментируя и объясняя их или в специальных примечаниях или непосредственно в тексте. «Ах, доброе русское слово – *острог*! – читаем в его книге “Архипелаг Гулаг” (часть I, глава 12), – и крепкое-то какое! и сколочено как! В нём, кажется, – сама крепость этих стен, из которых не вырвешься. И всё тут стянуто в этих шести звуках – и строгость, и острога́, и острога́ (ежовая острога, когда иглами в морду, когда мёрзлой роже метель в глаза, острога затёсанных кольев предзонника и опять же проволоки колючей острога), и осторожность (арестантская) где-то рядышком тут прилегает, – а *рог*? Да рог прямо торчит, выпирает! прямо в нас и наставлен». Оценив слово как “доброе”, писатель имеет в виду то, что оно добротно, хорошо, удачно сделано.

А вот то, что язык наш называет “добром” предметы быта, одежду, домашнюю утварь, ему представляется странным (см. “Матрёнин двор”). Странно, однако, другое – что при столь внимательном отношении к слову писатель в данном случае не почувствовал едва ли не на поверхности лежащей предопределённости этого просторечного словопотребления народными этическими ценностями, бережным отношением к тому необходимому, что служит человеку в его повседневной

жизни и что наживается не вдруг и не лёгким трудом. Чтобы выразить ироническое отношение к накопительству, скопидомству, повышенному интересу к вещам, народ пользуется другими словами – такими, как “тряпки”, “барахло”. Может быть, в этом случае писатель и сам оказался в каком-то смысле во власти тех “штампов принудительного мышления”, которые, по его наблюдениям, так мешают людям понять друг друга, и захотел быть “нравственнее” веками складывавшихся и утверждавшихся элементов народной этики.

А вот темпераментная характеристика слова “массовизация” и обозначаемого им процесса как “мерзкого” таких сомнений не вызывает, хотя можно было бы сказать, что и здесь форма и содержание удивительным образом совпали: каков процесс, таково и слово, казённое, внешнеэстетичное, наскоро слепленное по канонам революционного новояза. Но А. Солженицын прав в том, что долгие годы такой массовизации из многих голов “выбили... всё индивидуальное и всё фольклорное, натолкали штампованного, растоптали и замусорили русский язык”, наводнили его выпренными идеологизированными клише, проникшими в речь даже наиболее образованных и думающих представителей общества, вынужденно или привычно использовавших этот “подручный, невыразительный политический язык” (“Образованщина”).

Феномен солженицынского “Одного дня из жизни Ивана Денисовича” – в нерасторжимости правдивого содержания и правдивого языка, которые в начале шестидесятых годов шли “вперерез” привычным политическим догмам, расхожим эстетическим штампам и моральным табу: никому не известный автор ошеломившего современников произведения выбрал для себя свободу “в устроении... собственного языка и духовного мира” (Вопросы литературы. 1991. № 4. С. 16). Тогда для многих стали событием не только герой и тема рассказа, но и язык, которым он был написан: в него “окунались с головой, дочитывали фразу – и нередко возвращались к её началу. Это был тот самый великий и могучий, и притом свободный, язык, с детства внятный, а позже всё более и более вытесняемый речезаменителями учебников, газет, докладов” (Новый мир. 1990. № 4. С. 243). Тогда А. Солженицын “не просто сказал *правду*, он создал язык, в котором нуждалось время – и произошла переориентация всей литературы, воспользовавшейся этим языком” (Новый мир. 1990. № 1. С. 243). Этот язык был ориентирован на стихию той устной речи, которую писатель слышал в “гуще народной”, где, по его наблюдениям, ещё сохранилось “невывуженное, невытопанное” массовизацией (“Образованщина”).

Как известно, на основе аналитической проработки существующих словарей русского языка, а также лучших образцов отечественной литературы и всего слышанного “в разных местах... из коренной струи языка” А. Солженицын составил “Русский словарь языково-

го расширения”, цель которого видел в том, чтобы послужить отечественной культуре, “восполнить иссушительное обеднение русского языка и всеобщее падение чутя к нему” (“Объяснения” к “Русскому словарю...”).

Конечно, суть этой работы не в том, как это представляется некоторым лингвистам, чтобы попытаться вернуть современников к прошлому языковому сознанию. Не о замене иностранного слова “калоши” на русское “мокроступы”, как предлагали задолго до него ревнители чистоты русского языка, идёт у него речь. И не о замене широкоупотребительной лексики забытыми или почти забытыми словами, собранными им: “зрятина” вместо “напраслины”, “смехословие” вместо “иронизирования”, “тщесловие” вместо “суесловия”, “женобесие” вместо “женолюбия”, “школить” вместо “воспитывать” или, может быть, “ругать”, “звёздохват” вместо “хватающий звёзды с неба”, “авосьничать” вместо “делать что-нибудь на авось” и т.д. Собранные слова предлагаются им лишь в качестве возможных синонимов к распространённым на том основании, что содержат дополнительные смысловые или экспрессивные оттенки. Подобно тому как исторически и философски творчество А. Солженицына нацелено на восстановление не вообще прежних порядков, а именно “дееспособных норм прежней российской жизни” (Вопросы литературы. 1991. № 1. С. 193), так и с лингвоэстетической точки зрения его словарь и писательский труд движимы стремлением вернуть в речевой обиход соотечественников, в русскую литературу из запасников языка “ещё вполне гибкие, таящие в себе богатое движение слова”, которые могут найти применение, обогатить современную речь, выразить содержание, может быть, в должной мере невыразимое известными языковыми средствами.

Показательно, что сам А. Солженицын смог, как он считает, “вполне уместно” использовать в собственных произведениях лишь пятьсот лексических единиц из своего Словаря. Такой же осторожности в словоупотреблении он ждёт и от собратьев по перу, не приемля “языковых разухабств”, когда литератор стремится “не в лад, не в уровень к предмету рассмотрения, не к задуманной высоте открытий напихать в текст грубых выражений, не слыша фальши собственного голоса” (“...Колеблет твой треножник”). Несомненный образец такой безвкусицы для А. Солженицына – лагерный жаргон в эссе А. Терца (А. Синявского) “Прогулки с Пушкиным”: “насобачившийся хилить в рифму” и т.п. Со свойственной ему категоричностью он обвиняет уже не только этого автора, а отечественную эмиграцию вообще в стремлении “развалить именно то, что в русской литературе было высоко и чисто”. “Распушенная и больная своей распушенностью, до ломки граней достоинства, с удушающими порциями кривляний, она, – пишет А. Солженицын, – силится представить всеиронию, игру в вольность самодостаточным Новым Словом, – часто скрывая за ними бесплодие, вспышки несущественности, переигрывание пустоты” (Там же). Разумеется, это не

может быть отнесено ко всей русскоязычной эмигрантской литературе, которая в лучших своих образцах немало сделала и для славы российской словесности, и для сохранения русского языка. И “Прогулки с Пушкиным” тоже никак не исчерпываются оценкой А. Солженицына. Но неистовство – в русском духе.

Не это ли неистовство порой мешает и самому А. Солженицыну в его работе над словом? И не проигрывают ли в таком случае его собственные тексты от того, что после первых публикаций на родине профессионально их, видимо, никто уже не редактировал, а в отечественных изданиях последних лет неприкасаемой оказалась даже его орфография: “девчѣнка” (“Раковый корпус”), “мьюзикал” (“Нобелевская речь”), “мятель” (“Архипелаг Гулаг”), “семячки” (“Бодался телѣнок с дубом”) и др.? “Один день Ивана Денисовича”, может быть, лучшее художественное произведение А. Солженицына, только выиграло от того, что, не уступив в главном – в подлинности характера и языка, – автор согласился «реже употреблять к конвойным слово “попки”... пореже – “гад” и “гады” о начальстве; сначала этих слов в тексте было “густовато”», – признаётся он в “Очерках литературной жизни”. Вот так же густовато бывает на некоторых страницах других его произведений от нарочитых языковых исканий, заставляющих читателя, как сказал бы сам Александр Исаевич, то и дело “упинаться”, отвлекаясь от содержания, теряя остроту восприятия.

Возможно, к числу подобных неудач следует отнести такие словоупотребления писателя, как “обиходчивый Макс” (“В круге первом”), что в контексте означает “обходительный”, но по форме тяготеет к значению причастия “обихаживающий”; в выражении “нагуживает в душу нам” (“Нобелевская речь”) глагол смущает той же нечёткостью смысловой ориентации – “гужевой”, “гадить”?.. Интересен, свеж, ритмически и даже по смыслу оправдан последний глагол в предложении об острогах: “... стало это всё опять подниматься, сужаться, строжесть, *рожесть*” (“Архипелаг Гулаг”), напоминающем знаменитые цветаевские словесные эскапады, но взятый отдельно, без контекста, этот же глагол становится совершенно непонятным (“раж”, “рожа”?..). Вызывают сомнение и некоторые словообразования вроде “травы вокруг *со-чают* после дождя” (“Дыхание”), хотя ни один из “правильных” оборотов (источают аромат, распространяют запах, сочатся влагой и т.д.) – а писателю, к тому же, нужно только одно слово – не передал бы всей информации, обеднив прекрасную и живую картину, ибо травы после дождя в самом деле не только пахнут свежестью, но ещё и, напоенные влагой, полнятся ею, дышат, роняют избыток, испаряют вовне, дымятся... Впрочем, при такой страстной увлечённости языкотворчеством и при таком абсолютном неприятии “расхожего языка”, “расхожих понятий”, издержки и передержки – воспользуемся его словом – “необминуемы”; к тому же их в произведениях А. Солженицына всё-таки куда меньше, чем находок.

Выпалывая из своих текстов приевшиеся формы, писатель не только борется со штампами, но часто уточняет или утяжеляет смысл, делает слово более значимым и содержательно, и эмоционально. При этом используемые им приёмы весьма разнообразны. Так, разговорные, просторечные слова продуктивно работают в языке не только героев, но и самого А. Солженицына. В одних случаях они употребляются, чтобы разнообразить, оживить речь, избавить её от повторений, как, например, глагол “пособить” наряду с нейтральным “помочь” в “Нобелевской речи”; в других – фонетико-грамматические просторечия, включённые в авторскую речь, становятся средством дополнительной характеристики персонажей, как “выпимши” и “для прилики” в “Пасхальном крестном ходе”; в третьих – просторечие, например, “роженные” должно нейтрализовать неуместное в контексте названного рассказа высокое звучание слова “рождённые”. Пробуем в этом же рассказе вернуть на место “законный” глагол “обступили” или “окружили”, и тотчас исчезнет эффект слова-находки, и упростится, обеднится смысл: “Девки в брюках со свечками и парни с папиросами в зубах, в кепках и в расстёгнутых плащах... плотно *обстали* и смотрят зрелище, какого за деньги нигде не увидишь”. Этим целям служит и глагол “одерзел”, употреблённый вместо “осмелел” (“Бодался телёнок...”). При этом А. Солженицын по обыкновению строго следит за уместностью употребляемых слов: девчонки в брюках “перетягиваются” в церкви со старухами (“Пасхальный крестный ход”), а вот врач Гангарт и медсестра Зоя в присутствии неравнодушного к обоем Костоглотова – “перерекнулись”. Оба глагола несут на себе печать авторского отношения к героям, авторской оценки – в этом ещё один немаловажный смысл производимых писателем замен.

Чтобы разъять привычный штамп, писатель то вместо нейтральных слов использует сниженные, скажем, “ухватки”, а не “способы” или “приёмы” (“Пасхальный крестный ход”); то вводит неожиданные, неизбитые определения, вроде “смутьянского Ленинграда” (“В круге первом”), “раскалённого часа” (“Нобелевская речь”); то соединяет слова, не очень подходящие с точки зрения нормативного употребления: “вперерез марксизму” (“На возврате дыхания и сознания”), “бойкий оценщик” – о литераторе-критике (“...Колеблет твой треножник”), “зудело ли ... оптимистам” (Там же); то в сложном слове заменяет одну из частей или меняет их местами – “немоглухой” (“Матрёнин двор”), “средолетний старик” (“Раковый корпус”), «печалославная советская “Литературная энциклопедия”» (“...Колеблет твой треножник”), “хвалословили тирана” (“В круге первом”), “политические мимобежные нужды” (“Нобелевская речь”), “простогубые” (“Пасхальный крестный ход”) и т.д.

Иногда, заменив в слове корень, А. Солженицын достигает иронического эффекта, шаржирует называемый предмет или лицо, например,

когда называет автора упоминавшегося выше эссе о Пушкине “язвеистом”, а “трибунальцев” – “истолюбивыми” (“Архипелаг Гулаг”). В других случаях этот же приём используется для противоположных целей – чтобы явление “облагородить”; сказать о любимом герое, что он “окрысился”, конечно же, язык не повернётся даже и у А. Солженицына, хотя суть всё же в том, что “оклычился” действительно ближе к характеру и состоянию Костоглотова; “окрыситься” в соответствии с концепцией романа мог бы, пожалуй, Русанов (“Раковый корпус”). Наконец, замена привычного корня или образование нового слова по аналогии с той или другой группой слов путём подстановки корня, нужного по смыслу, даёт писателю замечательную возможность экономно и ёмко выразить необходимую полноту содержания. Так, в выражении “повальное... *выколаживание* страны” (“Архипелаг Гулаг”) первое слово, образованное от исходного “голод” по типу существительных “выколаживание”, “вымораживание”, “выстуживание” и др. подчёркивает масштабность и преднамеренность бедствия; безличное “разотмилось” (Там же), произведённое от существительного “тьма” по образцу глагола “распогодилось”, должно уточнить, какая именно перемена произошла в природе; в предложении “Искусство *растепляет* даже захлавленную затемнённую душу” (“Нобелевская речь”) глагол, построенный по известному образцу, удачнее другого говорит о постепенности процесса.

Другой часто используемый А. Солженицыным приём обновления употребительной лексики заключается в замене приставок и суффиксов при сохранении корней, что порой, как в следующем тексте, сопровождается переводом привычного слова в другую часть речи: “Что ж *обещательней*, чем лозунги комбеда? что ж *угрозней*, чем пулемёты ЧОНА...!” (“Архипелаг Гулаг”). Но чаще подобные эксперименты касаются только приставок, которые или сокращаются или отбрасываются целиком: “...нудила меня к какому-то прорыву” (“Бодался телёнок...”), “в *запрошлом* году” (“Раковый корпус”), “мир *тусторонний*” (“В круге первом”); или, наоборот, добавляются там, где вы их не ждёте: “*обминул* меня Бог творческими кризисами” (“Бодался телёнок...”), “необминуемый магический кристалл” (“...Колесблет твой треножник”); или меняются на другие, чтобы выразить оттенок, не содержащийся в нейтральном варианте, либо “освежить” последний: так, основные линии, которые “уже *промекаются*” (“Архипелаг Гулаг”) – не те, что только ещё намечаются или планируются, но те, что уже проступают и становятся видны. Там, где многие сказали бы “нахлынуло”, автор романа “В круге первом” пишет: “пятерых из них *охлынуло* горько-сладкое ощущение родины”. Выбранное слово вернее и удачнее для данного контекста, ибо глагол с приставкой “на-” часто означает действие, направленное на одну сторону предмета, тогда как действия, обозначенные глаголами “омыло”, “овеяло”, “обволокло” и т.п., распространяются на весь предмет со всех сторон. Точно так же “изгасшие глаза”

больше, чем угасшие или погасшие, скажут читателю о длительности перенесённых человеком “искорчинах болей” (“Раковый корпус”).

Пожалуй, особенно много и, по большей части, продуктивно на смысловое “утяжеление” текста у А. Солженицына работает приставка “из-”: “издавнее всех старожилов” (“Раковый корпус”), “написал изнехотя воспоминания” (“Архипелаг Гулаг”) и т.д. При этом художественная логика писателя часто оказывается убедительней грамматических или стилистических правил, апеллирующих к частотности употребления тех или других форм. Глагол “излюбить”, воспринимаемый читателями в значении, которое он имеет, например, в стихотворении Сергея Есенина “Излюбили тебя, измызгали...”, в миниатюре А. Солженицына “Озеро Серден” приобретает совсем иной смысл: “...это местечко на земле излюбишь ты на весь свой век”. Писатель как будто и не помнит того, есенинского, толкования и, не удовлетворившись привычным “полюбишь”, за счёт изменения приставки нагружает слово дополнительным содержанием, идущим от форм “излюбленный”, “излюблен”, то есть “любимый”, “любим” – из всех больше всего. Такова и логика употребления этого глагола в “Раковом корпусе”: “он излюбил и избрал простенок”.

Не менее разнообразна и поучительна работа А. Солженицына с суффиксами, из которых он по обыкновению отбирает неизбежные и, кроме того, более экономные: “усовершился по коневодству” (“Архипелаг Гулаг”), “кое-что и усовершил” (“В круге первом”), “обнадёжные предвидения раздумчивых голов” (“Пасхальный крестный ход”), “всклочила... волосы” (“Раковый корпус”) и т.д. Как правило, это помогает уйти от книжного или канцелярского слога к разговорному, иногда – сказово-былинному; такой эффект возникает, например, при замене существительного “воззвание” на “воззвы” (“На возврате дыхания и сознания”), “восклициания” на “всклик” (“Бодался телёнок...”). Думается, что употребление слов, созданных путём замены или сокращения тех или иных словообразовательных элементов – как корней, так и аффиксов – способствует приумножению лексических богатств современного русского языка и в некоторых случаях его омоложению.

Солженицынские тексты убеждают, что в языке уже есть всё: у глагола, воспринимаемого как одновидовой, оказывается, возможна пара, хотя бы и просторечная; сказав «стали “революционные идеалисты” очунаться» (“...Колеблет твой треножник”), писатель употребил форму, вобравшую в себя содержательные оттенки и от одновидового “очунуться”, и от парного просторечного “очухиваться – очухаться”. То же произведение напоминает, что у глагола совершенного вида “приютить” в запасниках языка есть видовая, сегодня неупотребляемая пара – “приючать”. Не останавливается писатель и перед использованием редких в прозе – в поэзии было – деепричастных авторских образо-

ваний типа “плача или *стоня*” (“Раковый корпус”). Убедительно, сообщая дополнительный экспрессивный оттенок, не содержащийся в нейтральных словах, работают в его текстах просторечные страдательные причастия: “Было угрожено, что его же и расстреляют” (“В круге первом”), “успехи и о Достоевском” (“...Колесит твой треножник”). При этом удивительной особенностью языка А. Солженицына является то, что вводимые им просторечия порой теряют в его произведениях сниженную окраску и воспринимаются едва ли не как литературные благодаря точному выбору слова для каждой конкретной ситуации.

Конечно, народность и “русскость” языка А. Солженицына – не только в том, что его герои говорят на живом наречии, подслушанном “в гуще народной”, но и в том, что в своей языкотворческой работе он учитывает опыт разных пластов отечественной культуры – фольклора, реалистической прозы, поэзии “серебряного века” и, может быть, особенно – Марины Цветаевой и Владимира Маяковского. У Цветаевой тоже не “влюбляются”, а “влюбливаются”, не “впадают”, а “впадают в: память”; вместо “думайте” у неё – “думте”, вместо “нанизывай” – “нижи” и т.д. (см.: Зубова Л.В. Поэзия Марины Цветаевой: Лингвистический аспект. Л., 1989); и, наконец, в её стихах и поэмах тоже “спокошный колокол гремит...”, как и у Маяковского с его “мечусь, оря”, “приходится раздвояться” (“Прозаседавшиеся”), “сле растались, развелись еле”, “приди, разотзовись на сгих” (“Люблю”) и т.д. Иногда солженицынский синтаксис заставляет вспоминать резко своеобразный стиль Андрея Платонова. Вот примеры откровенных реминисценций: “должен домучиться ещё двадцать лет ради общего порядка в человечестве”, “мысль не дошла до ясности” (“В круге первом”) и др.

По-видимому, одна из главных причин возвращения А. Солженицына на родину состоит в его намерении лично и “вблизи” участвовать в “обустройстве России”. Ещё в семидесятые годы во время эмиграции он предупреждал об опасности, подстерегающей писателей, которые берут на себя роль обвинителей своего отечества и народа и, отрешившись от чувства совиновности, требуют покаяния лишь от других: “Эта их чужеродность, – считал он, – наказывает их и в языке, вовсе не русском, но в традиции поспешно-переводной западной философии” (“Расскаяние и самоограничение как категории национальной жизни”). У писателя же, который не отгораживается от народной боли, по его мнению, гораздо больше возможностей стать “выразителем национального языка – главной скрепы нации, и самой земли, занимаемой народом, а в счастливом случае и национальной души” (“Нобелевская речь”).

Думается, что “в счастливых случаях” А. Солженицыну удалось стать выразителем и национального языка, и национальной души. В его опыте языковой работы – народная приметливость, па-

мятливость и бережливость; научная “дотошность” и скрупулёзность; масштабность художнического и языкового эксперимента и действия; стремление послужить улучшению языковой ситуации в стране, развитию культуры речи и языкового мышления современников.

С А.И. Солженицыным можно и нужно спорить, но сначала – услышать и понять. И – да будет Слово Делом ...

Санкт-Петербург



Стихи Антонина Ладинского

Антонин Петрович Ладинский (1896–1961), писатель второго поколения русской эмиграции, больше известен на родине как исторический романист, автор книг “15 легион” (1937), “Голубь над Понтом” (1938), “Когда пал Херсонес...” (1959), “В дни Каракаллы” (1961), “Анна Ярославна – королева Франции” (1961), “Последний путь Мономаха” (1966). Стихи, составляющие вторую ипостась его творчества, в СССР, куда он вернулся из эмиграции в 1955 году, не издавались. А между тем за рубежом, где А. Ладинский жил с 1921 года, преимущественно в Париже, напечатано несколько его поэтических сборников: “Чёрное и голубое” (1931), “Северное сердце” (1934), “Стихи о Европе” (1937), “Пять чувств” (1939), “Роза и чума” (1950). И.А. Бунин, критик строгий и придирчивый, писал А. Ладинскому: “Я очень люблю Вас и как поэта, и как прозаика” (Лит. наследство. 1973. Т. 84. Кн. I. С. 688).

Молодёжь в эмиграции в поисках своего стиля не сразу оторвалась от старшего поколения – учителей. Отмечая поэтическую индивидуальность А. Ладинского, Г.П. Струве указал на перекрещивающиеся влияния – М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин, «вообще XVIII век (дух его – Ладинскому близок русский “Мир Искусства”, Бенуа и Сомов)» (Струве Г.П. Русская литература в изгнании. Нью-Йорк, 1956. С. 342).

В эмиграции в защиту старых слов и приёмов выступила З.Н. Гиппиус. «Для стихов, которые “е с т ь”, не существует ни “новых”, ни “старых” слов: таинственная сила гармонии даёт каждому его смысл [...] Море осталось голубым, соловьи из поэзии (настоящей) не думали, оказывается, улетать, и розы в стихах Георгия Иванова цветут так же естественно, как на розовых кустах [...]» (Крайний Антон. Литературные размышления // Числа. 1930–1931. № 4. С. 151). Ладинский и был страстен к обычным, традиционным в классической поэзии словам. В рецензии на его сборник “Чёрное и голубое” В.В. Набоков писал о повторяемых по многу раз пальмах, розах, ледяном эфире, прилагательном *прекрасный*. “Цветут эскимосские розы на окошках полярных домов” и “к эскимосской розе полярный воздух льнёт” (Набоков В.В. Рассказы. Приглашение на казнь. Эссе, интервью, рецензии. М., 1989. С. 387).

Мир, воссоздаваемый молодой эмигрантской поэзией, был пронизан не памятью и воспоминаниями (которые ещё не успела сформировать их короткая жизнь в России), а видениями, призраками, которые в изгнании стали источниками эмоций и творчества. У Антонина Ладинского – это театрализованный Петербург в его сборнике “Северное сердце”. Мир театра – бутафорский, искусственный, непрочный, где жизнь протекает на малой сцене. “При балетной луне” декорации сгорают и улетают ввысь – таков образный, метафорический строй стихов Ладинского. “Слова – только тени, аллегории чувств и вещей”, – писал известный эмигрантский критик М. Цетлин в рецензии на сборник “Стихи о Европе” (Современные записки. 1937. Т. 65. С. 430). Эта же схематичность и стилизованность характерна и для его поэтических пейзажей:

И вот посреди вселенной,
Клубящейся, как дым,
Встаёт розовостенный
Небесный Иерусалим.
О, слышать нельзя без волненья
В лазури среди облаков
Хлопанье крыльев и пенье
Городских петухов.

В “полотняной стране” театральных декораций доминирующими стали эпитеты *голубой* и *чёрный* – небесная лазурь над тёмной землёй. Голубое – отсвет неба на земле, снежных сугробах, морской воде, плеще музы. В рецензии на сборник Ладинского 1939 года В.В. Вейдле отметил в его поэзии “общее стремительное движение”, когда “каждое стихотворение даже самым своим ритмом даёт впечатление устремлён-

ности вперёд, так что первая строчка знаменует как бы отталкивание от земли, а последняя не возвращение вспять, но продолжающийся, уже неуслалимый взлёт в безграничные и бессловесные пространства” (Современные записки. 1939. Т. 68. С. 470).

Для Ладинского, как и для других поэтов и писателей второго поколения русской эмиграции, характерно проникновение в пласты чужой культуры. В его стихах возрождаются антологические мотивы, казалось бы, уже утраченные русской поэзией после Вяч. Иванова и Михаила Кузмина. Стихи Ладинского “Европа” и “Дуб”, по мнению Г.П. Федотова, “не уступают лучшим вещам Мандельштама. Образ Европы, от древней Трои до наших дней, тонкое и хрупкое создание греческого гения, сейчас, накануне гибели, пронзает поэта мучительной любовью” (Вопросы литературы. 1990. № 2. С. 234). Поэтической темой стал и Восток – Палестина, куда Ладинский был послан по заданию редакции газеты “Последние новости”. О родине Христа он рассказал трепетно и проникновенно в книге “Путешествие в Палестину” (Париж, 1937).

Поэзия А. Ладинского, вновь открываемая, как и многое из эмигрантского наследия, стала неотъемлемой частью русской стихотворной культуры XX века.

*Л.М. Грановская,
доктор филологических наук
Баку*



АНТОНИН ЛАДИНСКИЙ

* * *

В декабре иль в апреле
Мы родились вопя,
Ты – под сенью Растрелли,
В сельском домике – я,

Всё равно, дёрнуть нитку –
Мы рукой шевельнём,
Снимем шляпу с улыбкой
Или яду глотнём.

Мы, как марионетки,
Ходим и говорим,
Мы трепещем, как ветки,
Исчезаем, как дым,

В голубой мышеловке
Вдруг захлопнет всех нас
Лапкой бархатной ловкой,
Страшным золотом глаз.

И кончая писанье,
Автор знает и сам,
Что всё ближе дыханье
К смерти и к небесам.

* * *

Среди стихотворенья
Я потому поэт,
Что создал мир, как пенье,
В котором кашля нет.

Искусственный немного,
Быть может, не такой
Огромный, как у Бога,
Но мир особый, мой.

Суровый мир и мало
Пригодный для мольбы,
Где ледники и скалы
И римские дубы.

Где воздух, хвоя, срубы,
И холод всех вещей.
И я не в тёплой шубе,
А в голубом плаще.

ПУШКИНУ

Он сделал гордым наш язык, а нас
Он научил быть верными в разлуке.
И как Онегин, миллионы раз
России нашей мы целуем руки!

Какая жизнь была ему дана –
Глоток “Аи” и всех страданий чаша!
Струилась – вся прозрачная до дна –
Река его стихов и радость наша.

Какой был дан ему прекрасный дар
Воспеть свободу на своих страницах,
Дыханья человеческого пар
Вдруг солнцем озарить, как мрак в темницах!

И перечитывая вновь и вновь
Его слова о славе и свободе,
Воспринимаем чище мы любовь,
Возвышеннее мыслим о природе.

* * *

Ради славы и мира
Мы покинули дом,
Чёрный воздух Шекспира
Мы, как пьяницы, пьём.

Городские мальчишки
Нас встречают, орут,
И цветные афишки
На заборах цветут.

И пока театральный
Строится балаган,
И высокий астральный
Намечается план.

Трагики без опаски
Погибают в вине,
Франту делает глазки
Героиня в окне.

Парусина полощет,
Это небо. Потом,
Полотняная роща,
Барабан – майский гром.

Будет всё по желанью
Благородных господ.
Начинаем, внимание!
Только шиллинг за вход.

Сжался, о Мельпомена!
Занавес! Занавес!
Страшный шорох и сцена:
Луна, башни и лес.

* * *

Не сабля, а шпага,
Не степь, а колонны.
Печальная сага
Об армии конной,
Ушедшей за Дон.
А волосы – лён.

И плач Ярославны
Над русским Ареем,
И Пушкин, в дубравных
Усадьбах лелеем,

И солнце в татарском
Плену ледяном
Над зимним ломбардским
Тяжёлым кремлём.

Морозы и зимы,
Сонет и сенат,
И Третьего Рима
Мильоны солдат.

Прекрасная Дама
На каждой строке –
То чёрная яма,
То роза в руке.

Мы в этом прекрасном
С рожденья живём
В том воздухе страшном,
Где небо и гром.

Мы бредим во имя
Спасенья в аду,
И сладкое имя
Мы шепчем в бреду.

ПАМЯТНИК

Всё может быть! На заседаньи чинном
Мне памятник потомки вознесут
И переулок в городке старинном
В честь бедного поэта назовут.

Так, – скромный бюст, подобье человека,
В напominанье стихотворных дел, –
В том скверике, где на углу аптека,
Где некогда я с книжкою сидел.

Собранье, бюст, министром просвещенья
Прочитанная по бумажке речь.
Потом – зима и тишина забвенья,
Снежок на бронзе голых римских плеч.

У памятника пёсик в назиданье
Поднимет ногу, милой жизни рад,
И школьница для первого свиданья
Назначит этот неприметный сад.

Прочтёт прохожий: “Антонин Ладинский”...
И пустит мне в лицо табачный дым,
И буду я с улыбкою латинской
Смотреть на мир, завидуя живым.

* * *

Прислушайтесь к органу мироздания,
К хрустальной музыке небесных сфер.
Пищит комар, и голосок создання
Вливается в божественный размер.

Пчела гудит гитарною струною,
Поёт на виадук паровоз,
И в небе над счастливою землею
Мильоны птиц, кузнечиков и ос!

Как раковину розовую, к уху
Прижмите горсть руки – о шум какой!
Старайтесь уловить вдали по слуху,
Как бьётся мира целого прибой.

Нельзя ли, кумушки, хоть на мгновенье
О маленьких делишках помолчать:
Мы ангела в эфире ловим пенье,
А музыке небес нельзя мешать.

В ИЕРУСАЛИМЕ

Да, не прочнее камень дыма,
И русским голосом грудным
О камнях Иерусалима
Мы с музой смуглой говорим.

А у неё гортанный голос,
И видел я на поле том,
Она склонилась, чтобы колос
Поднять, оставленный жнецом.

Всё розовое в этом мире –
Дома и камень мостовой
Холмы и стены, как в порфире,
Как озарённые зарёй.

Счастливцев я! Бежав от прозы,
Уплыв от всех обычных дел,
На эти розовые розы
Я целый день с горы смотрел.

* * *

С кем вы теперь, о горы вдохновенья?
Какой поэт на вас глядит в слезах?
Всё продолжается орлов паренье,
Прославлен в смуглой красоте Аллах,

И дева гор с кувшином за водою
Идёт, как раньше, к милому ручью,
Но стал печальным голос за горою,
И битва жизни кончилась вничью.

Набег был неудачен для героя:
Светила слишком яркая луна,
В аул вернулась половина строя,
И смерть в сраженьи – храбрецу цена.

Витают высоко душа поэта –
Прекраснее нет цели для стрелка.
И со свинцом в груди – Арагва? Лета? –
Он слушал, как шумит стихов река.

Но покидая мир (в дорогу сборы!),
Где пленником томился столько лет,
Благодарил он голубые горы
За страсть, за голос девы, шум побед.

Журчит ручей, подобен горной флейте,
И наполняет влагою сосуд.
О, девы гор, несите, не пролейте,
Нести кувшин – такой прелестный труд.

* * *

Жил смуглый и печальный
В Аравии поэт.
Журчал фонтан хрустальный
В садах его побед.

Он алгеброю хляби
Поэзии сверял,
Друг звёзд и астролябий,
Шатров и книжных зал.

Вращался глобус в зале
Планетой голубой,
И звёзды озаряли
В пустыне путь земной.

Шёл караван верблюдов
И не было воды
На донышке сосудов.
О жажда! Где сады?

Как пальму или воду
Тебя искал араб,
Как воздух и свободу
Галерный ищет раб.

Оазис в отдалении
Возник – глазам обман.
Как робкое волнение,
Газель мелькнула там.

И он с тоской газели
Твои глаза сравнил,
Уже средь пальм, у цели,
Уже совсем без сил.



“Главное дело
в
дикционарии”

*Ф.П. СОРОКОЛЕТОВ,
доктор филологических наук*

Слова, вынесенные в заголовок статьи, были произнесены российским пиитом В.К. Тредиаковским на академическом симпозиуме переводчиков 250 лет назад. Мысль, заключенная в них, была близка многим деятелям науки и культуры России: А.С. Пушкину и Н.М. Карамзину, А.Х. Востокову и И.И. Срезневскому, И.И. Давыдову и Я.К. Гроту, А.И. Соболевскому и Л.В. Щербе, В.В. Виноградову и Ф.П. Филину, которые глубоко осознавали общественное и научное значение словарей. В наше время утвердилось мнение, что основными научными произведениями, предназначенными для широкой общественности, считаются нормативные академические словари и грамматики.

Особое место, занимаемое лексикографией среди других лингвистических дисциплин, обусловлено прежде всего тем, что в ней отчетливо проявляются общественно-исторический и общественно-педагогический аспекты языкознания.

Вместе с тем лексикографической практике принадлежит ведущая роль в описании лексической семантики. Успехи теоретической лексикологии и семасиологии связаны не только с развитием теоретического языкознания, логики, философии, но и непосредственным образом зависят от степени освоения результатов лексикографического описания словарного состава языка.

Толковый словарь выявляет лексический состав языка в определенных хронологических границах, решает вопрос о слове как основе лексикографического описания, совокупности значений, о связи и зависи-

мости значений как результате процесса семантического развития, о границах слова и омонимии, о фразеологической и синтаксической обусловленности значений, об отношениях слова и контекста и т.п. Все это составляет главное содержание современной теоретической лексикологии и семантики и решается во многих случаях наиболее полно и определено в толковых словарях национального языка, ибо только в словарях представляется возможным рассматривать языковые явления во всей совокупности их связей и опосредствований.

Понимание системы языка как единого (реального) языкового сознания "определенного человеческого коллектива в определенный момент времени", восприятие нормы как динамического явления, формулирование основных положений стилистической дифференциации словарного состава, вопрос о соотношении лексики и грамматики в словарных описаниях, определение границ современного литературного языка и многие другие проблемы теснейшим образом связаны с лексикографией. Недаром Л.В. Щерба решал эти проблемы в ходе разработки теории лексикографии.

Можно сказать, что словари как лингвистический жанр привлекают внимание в двух аспектах: отражают реальную языковую действительность своего времени, а также лингвистические воззрения их авторов, что проявляется в лексикографической организации материала, в методах описания различных сторон лексической семантики, грамматики, стилистики. Оба эти аспекта наблюдения создают возможность представить объективные характеристики языка, составить суждение о норме языка на данном историческом отрезке времени.

Словари оказались удобной и наиболее экономной формой исследования языка и прежде всего его словарного состава.

Характеризуя место лексикографии в ряду других лингвистических дисциплин последней четверти XX века, Ю.Н. Караулов пишет: "Для лексикологии и лексикографии этих лет характерно сближение со многими направлениями современного языкознания, в частности с исследованиями языковой личности, с прагматикой, теорией общения и перевода, с лингвострановедением и этнолингвистикой, с теоретической и описательной грамматикой, наконец, с теорией и практикой автоматической обработки текстов на естественных языках. Они свидетельствуют о качественных изменениях лексикологии и лексикографии, обусловленных ростом общественной значимости их результатов и отражением в более совершенной инструментальной форме более глубоких закономерностей функционирования лексической системы" (Национальная специфика языка и ее отражение в нормативном словаре. М., 1988).

Здесь нет надобности останавливаться на достижениях отечественной лексикографии, прежде всего толковой нормативной лексикографии – они общеизвестны. Полезнее обратиться к определению очередных задач словарного дела.

Приходится согласиться с Б.Ю. Городецким, писавшим, что "если осмысление его (словаря, – Ф.С.) свойств в историческом плане и про-

двинулось до определенного уровня обобщения, то этого нельзя сказать о разработке стратегии – это проблема обоснованности словарей, отвечающих требованиям современной научно-технической революции. Главная проблема такой стратегии – это проблема обоснованности словарей как с точки зрения их состава, так и в плане адекватности подаваемой в них информации” (Проблемы и методы современной лексикографии // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1983). Действительно, такой стратегии у нас нет. Это не означает, однако, что русских филологов не интересовали пути развития национальной лексикографии. Наоборот, эти проблемы в конце XVIII – XIX – XX вв. обсуждались постоянно, активно и заинтересованно. Споры о том, какой словарь национального языка необходимо составлять, подчас занимали значительно больше времени, чем работа над самим словарем. Яркий пример тому – период между выходом в свет Словаря церковнославянского и русского языка АН 1847 г. и 1-м томом Словаря русского языка под ред. акад. Я.К. Грота (1891–1895).

Следовательно, закономерно, что после выхода в свет последнего тома семнадцатитомного “Словаря современного русского литературного языка” не прекращаются поиски типа нового словаря, который отошел бы от традиции Грота, Ушакова (а может быть, и более ранней – от Словаря Академии Российской). В.В. Виноградов, Ф.П. Филин, А.М. Бабкин, Ю.С. Сорокин, Ю.Н. Караулов и др. выдвинули свои проекты и предложения относительно характера, задач, назначения словаря, идущего на смену семнадцатитомному и четырехтомному академическим словарям русского языка. При существенных различиях авторских предложений их объединяет общее – незначительный отход от традиций БАС. Автор настоящих строк также в ряде статей выступал приверженцем этой традиции.

С тех пор прошло достаточно много времени, изменились требования к словарным изданиям, произошли заметные изменения в русском языке.

Пути развития русской лексикографии могут быть правильно осознаны лишь вместе с общими задачами развития науки и прежде всего – в свете перспектив дальнейшего развития исследований в области языка, литературы, материальной культуры, истории и искусства народов России. Одной из важнейших задач русской лексикографии должно быть дальнейшее и все более глубокое проникновение в нее общезыковедческих исследований (достижений лексикологии, семасиологии, грамматики, стилистики). Впрочем, не менее необходима “прививка” лексикографических достижений теории языкознания. Без соблюдения этих условий трудно рассчитывать на адекватное научное раскрытие существа языковых явлений и в лексикографии, и в теоретических построениях. Но эти условия сами по себе не могут обеспечить подлинное развитие лексикографии. Необходимо еще постоянное, непрерывающееся введение в науку новых материалов, то есть обогащение словарных картотек.

Лексика и фразеология русского литературного языка второй половины XX в. лексикографически описаны и интерпретированы далеко недостаточно. Вместе с тем известно, что этот период в истории русского литературного языка характеризуется интенсивным пополнением словарного состава в связи со стремительным развитием науки, техники, производства, заметными переменами в общественно-политической, социальной жизни общества, расширением международных контактов. Исследования русского языка этого времени, лексикографическая фиксация нового в словарях новых слов и значений свидетельствуют о значительных изменениях в лексике, семантике, сочетаемости, стилистической стратификации, которые произошли в русском языке в этот период.

Назрела настоятельная необходимость в лексикографическом труде, который отразил бы сложную (даже противоречивую) картину состояния (существования) современного русского языка.

Наиболее чутко на изменения современной жизни русского общества реагируют сферы языка, особенно близкие к его рядовым носителям: язык средств массовой коммуникации, "язык улицы", хотя безусловно все зоны лексической системы по-своему откликаются на эти изменения. Появляются новые слова и лексикализованные словосочетания, утрачивают свою активность, переходя в пассивный запас, некоторые слова и выражения, другие, наоборот, из пассивного запаса переходят в разряд активно функционирующих, намечается новое употребление слов, что ведет к приобретению ими новых смыслов, смысловых оттенков и значений; расширяют сферу употребления слова и выражения социальной и профессиональной речи, переходят в разряд литературных некоторые слова нелитературной речи, происходят перераспределения слов в стилистической палитре русского литературного языка.

Отличительными особенностями современной языковой ситуации являются необычайный динамизм лексических, семантических и стилистических изменений (теряют актуальность не только "советизмы", но и слова, явившиеся знаменем "перестройки"); поляризация эмоционально-экспрессивных оценок в широкоупотребительных словах советского времени (*грапортовать*, *судьбоносный*, *демократ* и т.п.); расширение сфер влияния разговорной речи, снятие ограничений с разговорной лексики, даже жаргонизмов, ставших достоянием не только устной, но и письменной речи; активное вовлечение сугубо книжной по своему происхождению или употреблению лексики в процесс разговорного общения; интеллектуализация языка, которая проявляется в регулярных пополнениях словарного состава из самых разнообразных специальных сфер словоупотребления; "нашествие" иноязычной лексики, проникающей во все сферы жизни и деятельности общества; актуализация историзмов, религиозной лексики и фразеологии.

Сложная и противоречивая в своей основе современная эпоха обо-

значилась набором новых значений и слов, среди которых многие обращают на себя внимание необычностью формы: *ноу-хау, импичмент, менеджеризм* и др.

Правильная, объективная оценка современного состояния русского языка и его норм должна опираться не на сумму субъективных мнений, а на анализ закономерностей и современных тенденций развития языка (С.И. Ожегов). Это связано с тем, что жизнь языка не останавливается, процесс роста заключается в обогащении старого языка словесными новообразованиями, в вытеснении старых форм новыми.

Современный этап развития русского литературного языка характеризуется следующими процессами: широким притоком научно-терминологической лексики и фразеологии, иноязычными заимствованиями, дальнейшим усвоением литературным языком социально ограниченного или диалектного по своему происхождению речевого материала, стилистическими перемещениями и сдвигами, связанными с развитием средств массовой коммуникации и информации (радио, газеты, кино, театр, ТВ и т.д.).

У нас настойчиво подчеркивались значение отечественной национальной традиции в словарной работе, роль конкретно-исторических условий, в которых составляются словари – и это совершенно справедливо. Однако нельзя при этом забывать и об опыте мировой лексикографии, которая выработала ряд лексикографических принципов, применяемых и в нашей практике. Это тем более важно, что существует немало проблем, которые одинаково остро стоят и перед русской наукой, и перед наукой в других странах. Это хорошо понимали русские филологи XVIII–XIX вв. Не случайно акад. Я.К. Грот подготовку нового издания академического словаря русского языка начал с изучения и обобщения опыта западноевропейской (особенно немецкой и скандинавской) лексикографии, а акад. Л.В. Щерба сетовал, что он при создании общей теории лексикографии не мог воспользоваться опытом восточной лексикографии.

Это отмечал П.Н. Денисов на конференции “Национальные лексикографические фонды. Проблемы формирования, систематизации и эффективности использования. (К столетию словарной картотеки Института русского языка АН СССР)”, прошедшей в Ленинграде в 1986 году. Подчеркивая необходимость расширения круга источников формирования картотеки для лингвистических исследований, П.Н. Денисов говорил, “что пока не будет создан большой академический словарь с развернутой и обновленной системой стилистических помет, будет очень трудно учить будущих писателей, журналистов, корреспондентов правильному функциональному обращению с русским словом”.

Речь идет о словаре, приближающемся по принципам охвата лексического материала к академическому словарю русского языка шахматовской редакции. Должно произойти значительное расширение слов-

ника за счет включения в него многих категорий слов, оставшихся за границами предыдущих нормативных словарей русского языка. Это термины и специальные слова, профессиональная лексика и лексика жаргонная, слова областных говоров, широко употребляющиеся в произведениях писателей, многие устаревшие слова и неологизмы, иноязычные заимствования. Надлежащим образом разработанная сетка стилистических (региональных, жанровых, социально-групповых, хронологических и др.) помет расставит по своим местам все слова русского языка, определит их жанрово-стилистический статус в лексической системе.

Необходимо, чтобы этот словарь отразил живую речь представителей различных профессий современных поколений русских людей. Это придаст особое значение вопросу о формировании круга источников словаря.

Давно уже осознана необходимость расширения типов и жанров источников толковых словарей современного языка (работы К.С. Горбачевича, П.Н. Денисова, Ю.Н. Караулова, Н.З. Котеловой, Г.Н. Складчиковой, Ф.П. Сороколетова и др.). В наши дни чрезвычайно расширилась сфера функционирования литературного языка, изменилась роль различных функциональных стилей в формировании его норм. Так, в отличие от XIX–первой половины XX вв., когда русский литературный язык и язык русской художественной литературы во многом совпадали, когда последний играл решающую роль в формировании норм литературного словоупотребления, русский литературный язык наших дней, его нормы формируются в значительной мере под воздействием языка научно-популярных, научных, публицистических произведений, языка прессы, научно-деловой и разговорно-литературной речи. Все заметнее становится воздействие обиходно-разговорной речи, просторечия на формирование норм литературного словоупотребления. Интеллектуализация языка и его демократизация – две разнонаправленные тенденции, определяющие характер и содержание современного литературного языка. Источники словаря, а затем и сам словарь должны отразить общественную языковую практику во всей ее сложности и многообразии. Основным принципом в формировании круга источников словаря должно стать расширение их типов и жанров.

Такой словарь действительно отразит современное состояние лексики и фразеологии русского литературного языка, представит систему средств, находящихся в настоящее время в активном употреблении, покажет системные связи и отношения в лексике.

В словарном отделе Института лингвистических исследований РАН разрабатывается концепция нового академического словаря русского языка, готовится материальная база для него. Руководитель этих работ Г.Н. Складчикова опубликовала проект нового академического словаря (Новый академический словарь. Проспект. СПб., 1994), в котором детально обсуждаются различные аспекты будущего издания: объект

словаря, словник, хронологические рамки и типы источников, способы подачи лексики и структура словарной статьи, принципы стилистической характеристики и многое другое. С учетом новых подходов к формированию круга источников ведется выборка материалов для картотеки словаря. Применение ЭВМ позволило в сжатые сроки создать картотеку, включающую более 1 млн. карточек. Таким образом, лексикографы и теоретически и практически готовят условия для создания словаря, отвечающего запросам времени.

Санкт-Петербург

*Язык прессы***Существительные на -инг – символ
американской
языковой экспансии?***ШАРМИЛА СЭШАН,**аспирантка Института русского языка им. А.С. Пушкина*

В последнее время средства массовой информации буквально наводнены значительной по объему группой существительных на -инг, заимствованных из английского языка: рейтинг президента снова снизился, супервумен кикбоксинга, идеальное средство от киднеппинга, лифтинг-крем от морщин, крем-краска для волос – Кастинг, Мультипейдж – лидер среди пейджинговых компаний и др.

По понятным причинам словари не отражают существующего на сегодняшний день положения дел. В различных справочниках зафиксировано около 99 существительных на -инг, к настоящему времени многие из них вышли из употребления. С другой стороны, только за последние пять лет в материалах периодической печати нами отмечено свыше 50 слов на -инг, не зафиксированных в словарях русского языка.

Суффикс -инг как показатель иноязычности был отмечен еще академиком В.В. Виноградовым: "...гораздо менее многочисленна и разнообразна серия суффиксов твердого мужского склонения, обозначающих предметы. Некоторые из этих суффиксов однородны с суффиксами лица... они выделяются в заимствованных словах: -ат, -ант/-ент, -мент, -инг..." Отмечая среди этих суффиксов и суффикс -инг, В.В. Виноградов пишет, что существительные на -инг входят в русский язык "с разнообразными предметными значениями (орудий действия, места действия, продуктов): *блужинг, крекинг, демпинг, митинг, дансинг* и т.д." (Виноградов В.В. Русский язык. М., 1986).

Можно предположить, что в настоящее время суффикс -инг с периферии языковой словообразовательной системы переместился к центру и слова на -инг, пусть и не всегда понятные, известны каждому носителю русского языка. Не будет преувеличением сказать, что -инг – один из символов американской языковой экспансии.

Начнем с необходимых общих сведений.

Англицизмы на -инг в языке-источнике являются производными от глагольных основ (to underwrite – underwriting). В русском языке они утрачивают эту соотнесенность с глагольной основой. По значению англицизмов на -инг в современном русском языке можно выделить 5 основных лексико-тематических групп:

1. Общественно-политическая группа. Сюда входят такие слова, как *митинг, стерлинг, шиллинг, брифинг, киднеппинг, рейтинг, мониторинг, дебрифинг, имидж-мейкинг* и др.

2. В научно-техническую группу входят термины *блюминг, кроссинг, тьюбинг, фитинг, аутбридинг, инбридинг, крекинг, шепинг, слябинг* и др.

3. К спортивной группе относятся слова *айсинг, боулинг, допинг, дриблинг, серфинг, виндсерфинг, тренинг, ринг, свинг, реслинг, бодибилдинг, кикбоксинг, шейпинг, трекинг* и др.

4. Экономическая группа, связанная с идеей рынка свободной торговли, включает англицизмы *демпинг, клиринг, маркетинг, консалтинг, лизинг, франчайзинг, мерчандайзинг, ремаркетинг, трейдинг, брейнсторминг* и др.

5. Обиходную группу составляют слова *кемпинг, паркинг, дансинг, слипинг, селинг, шопинг, хэппенинг, чуинг-гам, смокинг, пудинг, шокинг, букинг* и др.

В.Г. Костомаров отметил, что англицизмы на *-инг*, как правило, пополняют группу *singularia tantum*, то есть существительных, имеющих только форму единственного числа (Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. М., 1994). Приведем иллюстрирующие этот тезис отрывки из периодики: “Как сообщили нам в федеральной службе РФ по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, количество аммонийного азота в воде, текущей из кранов владимирских квартир...”; “Дополнительно можно прослушать курсы маркетинга или делового английского языка”.

Для некоторых случаев справедливо утверждение В.Г. Костомарова о том, что существительные на *-инг* “как-то деформируют русскую морфологию и... имеют дефектную парадигму склонения”, его примеры: “Тренинг на развитие наблюдательности”, “Стандинг, или правила хорошего тона” (Указ. соч. С. 192).

Если в языке-источнике большинство англицизмов на *-инг* многозначны, то на русской почве они обычно заимствуются с одним значением: *блюминг, крекинг, маркетинг* и др. Впрочем, существует группа англицизмов на *-инг*, значение которых в заимствующем языке совпадает со значением слова в языке-источнике: *браунинг, пудинг, пинг-понг, реслинг, шопинг* и др.

Все англицизмы на *-инг* склоняются: «Как заявил на брифинге президент РИКБ П.А. Коротков, для достижения таких успехов “мы стараемся перенять и привить западную культуру...”» (Веч. Москва. 1995. 25 янв.); “Все для фитнеса и бодибилдинга” (Центр PLUS. 1994. 28 нояб.).

Словообразовательная активность наблюдается у всех английских слов на *-инг*, даже новых: “На ногах могут быть какие-то опорки, где на нитках и веревках держатся остатки от кроссовок, а могут удачно выменянные крутые трекинговые ботинки”; “Премьер московского правительства Ю. Лужков принял решение внедрить в городе лизинговый механизм” (Экстра М. 1995. 28 янв.); “Шопинговая программа...”.

Все эти освоившиеся на русской словообразовательной почве слова на *-инг* можно подразделить на 3 группы: 1. Образующие формы глагола: *митинг* – *митинговать*, *прессинг* – *прессинговать*. 2. Образующие формы прилагательных: *блуминг* – *блуминговый*, *демпинг* – *демпинговый*, *шопинг* – *шопинговый*. 3. Образующие формы имен существительных: *серфинг* – *серфингист*, *картинг* – *картингист*. *виндсерфинг* – *виндсерфингист*.

Как известно, одним из способов расширения лексического состава любого языка является образование новых слов по уже существующим словообразовательным моделям с помощью тех средств, которые активно “работают” в языке. Суффикс *-инг* – это тоже словообразовательное средство, но новые слова на *-инг* не образуются на русской почве. Эту особенность можно связать с тем, что в русском языке слова на *-инг*, как правило, усваиваются целиком, тем самым словообразовательная роль суффикса ослабляется, если и вовсе не уничтожается. Поэтому встает вопрос о специфике усвоения слов на *-инг* русским языком: можно ли говорить о функциональном и смысловом соответствии “инговых” форм в русском языке и языке-источнике? Другими словами, синонимичны ли слова типа *дансинг*, *маркетинг*, *кемпинг*, *дриблинг*, *крекинг* и др. своим англоязычным прототипам? И если нет, то почему?

Попытаемся ответить на эти вопросы. Начнем со сравнения закономерностей образования слов на *-инг* (*-ing*) в русском и английском на примере слова *маркетинг* (marketing). В английском языке marketing – образовано от глагола *to market*, является многозначным словом. Оно имеет следующие значения: 1. покупать или продавать на рынке; 2. продавать, сбывать; 3. находить рынок сбыта; 4. делать покупки. Между тем, в русском языке слово *маркетинг*, потерявшее соотнесенность с глагольной основой, относится к группе специальных слов и имеет значение “система организации хозяйственной деятельности, основанная на изучении рыночного спроса, возможностей сбыта продукции, реализации услуг” (Словарь русского языка С.И. Ожегова, 1994, стр. 335). Как видим, в русском языке это однозначное слово.

Но специфика усвоения слова *маркетинг* в русском языке отнюдь не связана со значением слова-прототипа, потому что англицизм *маркетинг* в русском языке, в отличие от “marketing”, понимается как абстрактное, отвлеченное существительное, близкое книжным русским словам типа *торговля*, *продажа*, *сбыт*, т.е. названиям различных действий, связанных с идеей торговли. Таким образом, в системе русского языка слово *маркетинг* усваивается так, как усваивалась бы церковно-славянская лексика, ср. пары типа: *глава* – *голова*, *истина* – *правда*.

Если проанализировать другой англицизм *дансинг*, вошедший в русский язык со значением “танцевальный зал при кафе или ресторане”, то мы увидим: в языке-источнике для обозначения танцевального зала употребляют другое словосочетание “dancing hall”, а само слово “dancing” имеет значение “танцевать” или “танцы”.

То же самое с англицизмом *кемпинг*, который приобрел в русском языке значение “специально оборудованный летний лагерь для автотуристов”. Между тем, в языке-источнике это слово имеет значение “располагаться лагерем или жить где-л. временно без всяких удобств”.

Таким образом, налицо достаточно регулярный сдвиг в значении русского слова на *-инг* по сравнению со словом-прототипом. По нашему мнению, отсутствие смыслового тождества между русскими и английскими “инговыми” формами связано как раз с тем, что в русском языке соответствующие слова усваиваются целиком, из конкретного контекста, а не с помощью усвоения прототипической модели: глагол → существительное на *-инг*. Именно поэтому сам суффикс *-инг* оказывается непродуктивным на русской почве, а мотивирующая сила глагола совсем не ощущается. Мотивирующим в этом случае становится контекст.

Индия

*Язык прессы***ОЦЕНКА
С ПОМОЩЬЮ
КАВЫЧЕК***СУДЖАТА РАО,**аспирантка Института русского языка им. А.С. Пушкина*

Несмотря на то что в последнее время проблема оценочности в прессе находится в центре многих лингвистических исследований, относительно мало в этой связи сказано о роли графических средств, нуждающихся в подробном описании разного рода выражения косвенной оценки при помощи знаков препинания в российских газетах постперестроечного периода.

Пресса располагает несколькими типичными для нее способами непрямого выражения оценки. Среди них важное место занимают кавычки. Именно это позволило Б.С. Шварцкопфу отметить, что “кавычки в своей оценочной функции стали привычным орудием всех пишущих” (Вниманис: кавычки! // Русская речь. 1967. № 4. С. 64).

На первый взгляд, утверждение о неявном воздействии кавычек на читателя может показаться парадоксальным, ведь кавычки – это прежде всего графический знак, сигнал, выделяющий элементы текста. Правила употребления кавычек сами по себе прямо не выражают их оценочности. Однако оценочный потенциал кавычек проявляется, когда речь идет о вторичном, “псевдоцитатном” их использовании.

На основе некоторых примеров попытаемся выявить функции кавычек в журналистике, где они используются как некий код, скрывающий оценочную информацию. Заметим, установление дистанции между автором высказывания и автором оценки заложено уже в традиционном использовании кавычек. Во вторичном, оценочном их употреблении с помощью кавычек автор передает, что сам он не разделяет оценку, данную в кавычках, и не рекомендует ее читателям. Такое дистанцирование и является смысловым ядром употребления кавычек.

Можно выделить два наиболее распространенных типа применения кавычек как средства выражения оценки в газете.

1. *Псевдоцитирование.* В этом случае “закавычивается” мысль, а не прямая речь (выделение которой и есть основная “техническая” функция кавычек). Необходимость такого графического выделения определяется несогласием журналиста с приводимым высказыванием: «На митинге выступал ряд “политических деятелей”». Кавычки помогают намекнуть, что названные лица вовсе не являются политическими деятелями, а лишь только претендуют на эту роль. Иначе говоря, кавыч-

ки выступают как аналог прямого указания “так называемые”. Еще один пример: «С этим вопросом мы обратились к разным людям, причастным к “стройке века”» (Литературная газета). Слова, заключенные в кавычках, видимо, были когда-то цитатой и теперь выступают как коллективная оценка. Речь идет о грандиозном проекте строительства торгового центра. Тот факт, что автор сомневается в целесообразности проекта, передается кавычками, указывающими, что говорящий не разделяет справедливости коллективной оценки “стройка века”.

Как и в предыдущих случаях, большинство оценок преследует цель вызвать сомнения в истинности официальных версий: «Ситуация с холерой “под контролем”» (Известия). Кавычки помогают передать мысль, что в действительности ситуация не соответствует официальным заявлениям. В российской, как и в зарубежной прессе официальные версии часто пользуются низким уровнем доверия: газеты (и читатели) негативно относятся к ним. Кавычки – эффективный способ дистанцировать позицию данной газеты от официальной версии.

2. *Оценка на базе цитаты.* Некоторые лингвисты отрицают наличие оценочной функции у цитатных кавычек, но с этим можно не согласиться. Цитата подчас выступает как средство косвенной оценки. Такая функция цитатных кавычек проявляется в двух аспектах: они характеризуют автора цитаты; передают отношение журналиста к сообщаемому. Рассмотрим эти функции: “По мнению депутата Артема Тарасова, являющегося также владельцем предприятия Kenmore Service, те, кто возражает против пребывания в Думе деловых людей, “страдают слабоумием”. Не моргнув глазом, Тарасов продолжает: “Пусть придет в парламент и влиятельная на местах мафия. Эти люди очень стремятся к респектабельности” (МК. 1995. 1 марта). Здесь слова, оформленные по правилам подчеркнутого цитирования, служат передаче негативного отношения газеты (журналиста) к цитируемому автору. При этом такого рода скрытая отрицательная оценка направлена не на предмет речи, а именно на автора этой речи (автора цитаты) – самого депутата.

В обоих случаях оценочной доминантой кавычек является ирония. Ее могут передавать псевдоцитатные и цитатные кавычки. Использование псевдоцитатных кавычек для создания иронического эффекта приводит к расхождению семантики слова или фразы с его (ее) прагматикой. Почти все рассмотренные примеры первого вида кавычек содержат в какой-то степени скрытую иронию.

«“Друзья” с Запада» (Правда); «Некоторые “здравомыслящие” лица предлагают решить с Дудаевым “по-мирному”, то есть удушить Чечню “без пролития крови”, экономической блокадой» (МК. 1994. 6 дек.).

Направленность первого примера ясна. Во втором – слово “здравомыслящие” подразумевает нечто противоположное исходному смыслу. Фразы “по-мирному” и “без пролития крови”, исходно цитатные, одновременно передают иронию.

Иронический потенциал цитатных кавычек определяется самим выбором цитаты; “выдергиванием” из контекста (столь характерным для

желтой прессы); местом цитаты в тексте (ее соотносением с авторским контекстом, системой оценок и ценностей) или тем, что цитируемая информация заведомо противоречит действительности, как в следующем примере: «Министр обороны сообщил, что “основная группировка Дудаева разгромлена в боях за Грозный”» (Сегодня. 1995. 1 марта).

Рассмотренные примеры показывают, что основное направление кавычек – отрицательно-оценочное: они выделяют элемент чужого и чуждого в тексте.

Нам удалось выяснить, что такая функция кавычек взаимодействует с элементами авторской речи. Выстраивается закономерность: чем больше расхождений между авторской позицией и цитатной информацией, тем выше негативно-оценочная интенсивность кавычек.

Скрытие авторского замысла с помощью кавычек все чаще появляется в современной журналистике. Хотя рамки статьи не позволяют провести полный социолингвистический анализ “респектабельных” и “массовых” газет российской прессы, несомненно, большая завуалированность выражения оценки имеет место в газетах “Независимая” и “Сегодня”. В то время как для “Московского комсомольца”, рассчитанного на “непритязательного” читателя, типична незавуалированная, бьющая в глаза позиция.

Преимущество кавычек как скрытого средства оценки еще и в том, что не каждый читатель способен воспринять такую информацию. Это в свою очередь позволяет газетам сохранить облик объективности.

Индия



**“Русский
женский костюм –
костюм покоя”**

Е. В. АНТОШЕНКОВА

Традиционный русский народный костюм складывался на протяжении веков. На него оказывали влияние изменения быта, социальной структуры, условий существования каждой этносоциальной группы, многообразные взаимосвязи с различными народами – соседними или даже отдаленными. Большинство таких изменений отразилось на костюме в целом (т.е. появились новые элементы), а также в различных составляющих ансамбля (материале, покрое, орнаменте) и манере ношения.

Названия элементов одежды представляют собой богатый, весьма колоритный фонд народной лексики, которая на протяжении столетий незамедлительно отражала изменения в костюмном ансамбле всех слоев. Нередко бывало, что старое название не утрачивалось, а обозначало новую реалию: одежду, ее аксессуар, выступало даже в комическом аспекте (прозвище). Не видя одежды, еще не зная ее конкретного назначения, можно по названиям определить влияние на русский язык языков соседних народов, установить степень заимствований из других языков, культур.

Когда исследуешь старинные памятники письменности, то отмечаешь, что о женской одежде сказано меньше, чем о мужской. Это объясняется социальными причинами: женщина была более привязана к дому нежели мужчина, она реже подавала челобитные, в военные походы не ходила, почти не участвовала в торговых сделках. Однако женский костюм, безусловно, заслуживает самого пристального внимания. В глубокой древности он носил магический смысл, поэтому изготавливался с особой тщательностью, на него наносился красочный орнамент с замысловатой композицией. Особенно нарядные костюмы надевались редко, лишь в большие праздники и передавались от поколения к поколению.

В географическом отношении можно сказать, что к XVII веку, видимо, уже сложилось два вида женского костюма, характерные и для более поздних времен. На юге на сорочку и верхницу надевали *понёву* (одежда типа юбки, несшитая по бокам); на севере – *сарафан*. Хотя последний вид одежды был распространен повсеместно, но на севере ансамбль с сарафаном и его различными вариантами встречается гораздо чаще, чем в других регионах.

Своеобразие женского народного костюма русского севера отмечается многими исследователями. В небольшой статье было бы довольно трудно описать все многообразие женской севернорусской одежды, тем более, что она имеет и свои областные и даже внутриездные особенности. Мы лишь остановимся на описании названий и функций, наиболее характерных видов старинной севернорусской женской одежды, уделив особое внимание тому, что делает эту одежду неповторимым произведением искусства. Речь пойдет об орнаменте, о его значении, о символике отдельных элементов, открывающей нам картины ушедшего мира.

Итак, основным типом женского костюма в Приуралье, Архангельской, Холмогорской областях, а также в Западной Сибири, где начиная с XVI века складывалось старожильческое население, был *сарафан*. Его также носили старообрядки, семьи которых скрывались от преследований, в основном, в северных областях России. Считается, что слово *сарафан* вошло в русский язык не позднее XIV века со значением “длинный мужской кафтан особого покроя”. В XVI–XVII веках данное наименование расширяет свое значение: “длинная мужская одежда с рукавами и без рукавов, с проймами и застежкой сверху донизу”. Только с середины XVII века слово *сарафан* стало обозначать женскую одежду типа юбки на лямках без рукавов; глухой или распахнутой, на пуговицах. Сарафан являлся универсальной одеждой: он был повседневным и выходным, летним и зимним. Так, в пермских актах XVII века зафиксировано: “Сарафанов толстых и тонких числом 15; Два сарафана толстых крашенинных. Сарафан кумачной подклад холщовый с пуговицами и с кружевом мишурным” (Полякова Е.Н. Регионализмы в пермских деловых памятниках XVII – н. XVIII вв. // Русская региональная лексика XI–XVII вв. М., 1987).

Помимо слова *сарафан* в пермских актах есть и другие диалектные названия этого вида одежды: *дубас*, *шушун*, *кумашник*, однако нейтральное общерусское *сарафан* выступало как обобщающее название и имело большую частоту употребления. Наиболее древним по покрою считается глухой косоклинный сарафан, который имел чаще всего синий цвет. Позже встречались сарафаны и других цветов: красного, зеленого и т.д. Украшались они галуном, кружевом, сверкающими пуговицами, реже – вышивкой. Богатые сарафаны даже оторачивались мехом. Шились из кумача (кумашник), крашеного холста (крашенинник) и т.д. В Каргопольском крае встречались такие названия сарафана: *клетовник*, *набивник*, *атласник*, *штофник*, *кашемирник*.

Рабочий сарафан, сшитый из осиненного толстого холста, назывался синяк. В Архангельской области существовал вид одежды, называемый *штофной парой*. В нее входили *шугай* – кофта на парных лямках, от груди узкая, в подоле широкая и *сарафан* – юбка, которая от талии закрывает шугай. Штофная пара была очень дорогая, и носили ее только богатые молодые женщины.

Своеобразной, чисто женской одеждой в деревнях на Каргопольщине являлись *подолы*. *Подол* – это юбка из льняного холста, сшитая из пяти полотнищ, собранных у пояса, к которым пришивались тесьма, завязки. Подол богато украшался тканьем или тканым и вышитым шерстью многоцветным узором, который покрывал (особенно в нарядных подолах) почти всю ткань, кроме самой верхней ее части, украшенной только узкими полосками узора. В некоторых местах Вологодской области женщины носили в качестве основной одежды полосатую шерстяную юбку.

Подолы надевали только в особенных случаях. Например, считался большим праздником первый выгон скота в поле после зимнего стойлового содержания. Молодые женщины обязательно надевали рубахи – *подоляницы* и подолы. Женщины в первый год замужества надевали до трех подолов и, появившись на “сгоне”, подвергались строгому осмотру: женщины, загибая край сарафана молодухи, рассматривали подолы, обсуждали искусство хозяйки. Существовал обычай, по которому молодуха в таком подоле отправлялась на реку за водой для скота, чтобы коровы лучше доились.

В первый же день покоса надевались красные рубежи, узорные подолы, а сверху сарафаны. При этом, сарафан подтыкался за пояс, чтобы виден был подол (Маслова Г.С. Узорное тканье на русском Севере // Краткие сооб. ин-та этнографии. М.–Л., 1950. Вып. XI).

Хорошо была известна северянкам и одежда под названием *шушун*. Только покрой ее имел территориальные различия. Так, в Вологодской области шушуном называлось верхнее платье крестьянок вроде короткого кафтана. Шушун же в Архангельской области представлял собой разновидность сарафана и шился из черной или синей ткани (Труды этнографического отдела общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. М., 1877, Кн. 5. Вып. I). Его название встречается в росписи приданого довольно богатой невесты из Ровдо-

горя на Северной Двине (1647): “Шушун сукна красного с нарядом цена 4 рубли, (...) крашенник с нарядом цена 20 алтын (...) полторы рубли денег на шапку да круживо на шапку жемчужное цена 1 рубль” (Научный архив Географического общества СССР. 1. № 3. Л. 21–21 об.).

Как видно из данного перечня приданого, шушун был самой дорогой и, по-видимому, нарядной одеждой. Одним из самых дорогих свадебных нарядов считалась *епанча* (*епанца*?). Она изготовлялась из цветного штофа, накидывалась на плечи, как мантилья, и привязывалась у шеи завязками из шелковых лент.

В названии *кабат* заключены два полярных по своему назначению вида одежды. С одной стороны, в XVI–XVII веках в центральной России эта одежда, по покрою напоминающая кафтан с опушкой, шилась из атласа и была даже в числе царских одежд. Существуют изображения, на которых царь Алексей Михайлович и царица Мария Ильинична представлены именно в кабатах. В то же время и крестьяне носили одежду под названием *кабат* и была она близка по назначению своему к кафтану. Вот только носили ее лишь дома, и шили поэтому из скромных материй (Левинсон-Нечаева М.Н. Ткани и одежда XVI–XVII вв. // Государственная Оружейная палата Московского Кремля. М., 1954). А вот в Архангельской области вплоть до XIX века *кабат* – это балахон или длинная рубаха во весь рост человека. Шьется из парусинного холста с прямым воротом. Надевали кабат для мокрой или грязной работы. В зависимости от погоды или сезона он натягивался на рубаху или на кафтан, шубу.

В холодное время года женщины и мужчины в севернорусских регионах носили *тулупы*, так называемые *синие шубы*, *малицы*.

Тулуп был общеизвестен. Его шили из разных звериных шкур, большей частью из меха черной овцы, воротник был довольно широкий, откидной. У богатого тулупа одна пола заходила далеко за другую. *Синяя шуба* шилась на черном или белом овчинном меху с покрытием из синего или черного сукна. Воротник у нее стоячий и лежащий, бывает узкий и малый или большой и высокий, застегивался наглухо.

Малица – весьма интересный вид одежды. Это тулупы, сшитые не нитками, а хребтовыми жилами из четырех или более хорошо выделанных шкур молодых туленей. *Малица* – это широкая мешковатая женская рубашка, во весь рост, шерстью к телу. Она часто надевалась сверху на исподнюю шубу. В.И. Даль писал: “одежда в виде рубахи, из оленчины, шерстью к телу; исподняя шубка; она круглая или глухая (нераспашная), по колени, с оторочкою...”

Как уже отмечалось, народная одежда была интересна не только покроем и материалом, но и отделкой, орнаментальными композициями. Для севернорусских изделий был характерен один из самых древних орнаментов – геометрический, в котором преобладающим был красный цвет. Исследователи отмечают, что именно красный цвет играл огромную роль в культовых обрядах еще во II тыс. до н.э. Это цвет огня, жизни.

Один из наиболее распространенных элементов геометрического орнамента – *крест* (прямой или косой). Крест использовался с глубокой древности как магический символ. Первоначально его форма имитировала древнейшее оружие для добывания огня, поэтому крест стал универсальной религиозной эмблемой огня, а затем солнца как огня небесного. Огонь для язычников был очистительной, целебной стихией, способной отпугивать нечистую силу.

В северных районах России часто встречается другая фигура, геометрически близкая к кресту, так называемая *свастика* («др.-инд. от “су” – “связанных с благом”). С древнейших времен распространена в индийской культуре, где традиционно толковалась как солярный символ, знак света и щедрости» (Мифологический словарь. М., 1991). Некоторые исследователи связывали эту фигуру с молнией, то есть с огнем, переданным на землю с неба.

Широко распространен в декоре рубах был мотив *ромба* – символа плодородия, который соединял в себе женское и мужское начала (два треугольника).

Известно, что орнамент выполнял апотропеическую (охранительную) функцию. Кроме того, некоторые исследователи связывают такие знаки, составляющие древние орнаменты, с формированием у наших предков письменности. То есть сложные геометрические композиции являлись “символом родовой принадлежности”. Помещая в могилу человека, одетого в платье, украшенное родовыми орнаментами, его соплеменники верили, что по этим “письменам” предки на том свете узнают члена своего рода (Жарникова С.В. Обрядовые функции женского народного костюма. Вологда, 1991).

О своеобразии, неповторимости русского женского костюма можно сказать еще многое, но мне хотелось бы закончить свое описание словами иностранного путешественника, побывавшего в России несколько веков назад: “Русский женский костюм – костюм покоя. Взять хотя бы русский танец. Мужчина пляшет как бес, отхватывая головокружительные по быстроте коленца, лишь бы сломить величавое спокойствие центра танца – женщины, а она почти стоит на месте, в своем красивом наряде покоя, лишь слегка поводя плечами” (Билибин И. Несколько слов о русской одежде в XVI и XVII вв. // Старые годы. СПб., 1909).



ТОПОНИМИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ*

Г. П. СМОЛИЦКАЯ,
доктор филологических наук

Козельск (1146)*. Город в Калужской области. Один из древнейших русских городов, оказавший упорное сопротивление войскам Батия (по записи под 1238 г. в Суздальской летописи. По Академическому списку). Происхождение названия окончательно не выяснено, хотя существует несколько версий, пытающихся объяснить его: от *козел* (др.-русс. *козель*, *козьль* "козёл" животное), *козель* "строение в поле для собранного хлеба", "стропила" (Нерознак. Названия древнерусских городов). Неосновательно сближение его с антропонимами *Козел*, *Козеля* и т.п., поскольку они зафиксированы на несколько веков позже появления топонима. Не исключено, что в основе его диалектное *козал* "простейшая пристань, мостки", или "омут, водоворот в реке".

козельцы, козёлец и козельчәне, козельчанин, козельчанка,
устар. козличій, козлѣтин; козляне
козельский, -ая, -ое

* Продолжение. Начало см.: Русская речь. 1994. №№ 4–6; 1995. №№ 1–6; 1996. №№ 1–2.

Кокóшкино. Дачный поселок в Московской области. Название антропонимического происхождения – по фамилии одного из владельцев *Кокóшкина*. Эта фамилия известна у русских с XV века в форме *Кокóшки* и *Кокóшкин* (Веселовский. Ономастикон). В ее основе можно видеть апеллятив *кóкoш* (петух), из которого возникло прозвище *Кокóш* или *Кокóшко* “забияка, драчун, хвостун”. Менее вероятно видеть в основе фамилии слово *кóкoшкa* “кóкoшник, вид женского головного убора”, так как в этом случае трудно объяснить мотивацию названия.

кóкoшкiнцы, кóкoшкiнeц

кóкoшкiнский, -ая, -ое

Кологрíв (1778). Город в Костромской области. Название образовано из двух слов *коло* “около, рядом” и *грива* “то, что возвышается в виде полосы, гряды”, “холм продолговатой формы”. *Кологрив* – город около гривы, возвышения продолговатой формы, гряды.

кологрíвец, кологрíвцы, кологрíвка и кологривчáне,

кологривчáнин, кологривчáнка; *устар.* кологривяне,

кологривянин, кологривянка

кологрíвский, -ая, -ое

Колóменка (Колóмна). Река, правый приток Москвы-реки. Происхождение названия спорно. Существует несколько версий разного уровня лингвистической и исторической обоснованности вплоть до связи со словами *каменоломня* и *колодня*, *холодна* и т.п. Н.М. Карамзин “для забавы” (по его собственному признанию) даже выдумал несуществующее лицо – итальянца Колонна, который бежал из Италии от преследований папы Бонифация VIII в Москву, получил земли и основал город, назвав его своим именем *Колонна* > *Коломна*. Наиболее убедительно выводить этот топоним из финно-угорского *kalm* “могила, кладбище” от финского *kalmisto* “могила”, “могильник, кладбище” (Смолицкая Г.П. Из опыта составления топонимического словаря Московской области // Восточно-славянская топонимика. М., 1979). В славянском окружении *kolm* развило форму *коло* и значение “селение у кладбища” аналогично русскому *погост* “кладбище > поселение у кладбища (с церковью)”, а также “озеро, река у кладбища” (ср. *могила* > *кладбище* > оз. *Могильное*). Вероятно, первоначально название получила река, а затем поселение на ней. Финно-угорская версия поддерживается тем, что на берегу этой реки, по легенде, был старый могильник, кладбище (Булич О.П. Коломна. М., 1928). Топонимия и гидронимия этого типа (оз. *Коломна*, с. *Коломны*, р. *Коломенка* и т.д.) широко известны в Подмоскowie и к северо-западу от него. Ареал их совпадает с ареалом бывшего расселения прибалтийско-финских и поволжских финских народов по европейской части России. Соотнесение топонима *Коломна* с украинским *Коломия* неосновательно. В данном случае необходимо доказать не замену одного звука другим, а замену звуком -н(а) на -мыя (от *мыть*) – второго корня сложного топонима.

Колóмна (1177)*. Город в Московской области. Один из древних родов Подмоскowie. Название дано по реке *Коломна* (совр. *Коломен-*

ка), при впадении которой в Москву-реку был основан город. См. *Коломенка*.

коломенцы, коломенец, устар. коломничане и коломничи;

коломнятин, коломнятин, коломнянин.

коломенский, -ая, -ое

Колпино (1722). Город в Ленинградской области. В основе названия, несомненно, апеллятив *колпъ*. *Колпью* или *колпицей*, *колпицом* во многих местах России называли разные виды водоплавающей птицы. Это может быть самка лебедя, цапля и т.п. Топонимы типа *Колпино*, *Колпинка*, *Колпъ* и т.п. широко распространены на территории России. Колпино стоит на реке Ижоре и известно в источниках с XV века. Вероятно, в этом месте на реке Ижоре гнездились птицы, получившие название *колпъ*, *колпинка* или *колпица* и т.д. Не исключено, что название дано по прозвищу владельца, которое он получил по сходству с этой птицей. А.И. Попов приводит псковское и тверское слово *колпина* “щеголь”, “чистюля”, “тщательно причесанный”, в основе которого лежит внешнее сходство человека с белой цаплей (*Platylea*), очень красивой чубатой птицей, перья которой служили украшением (Попов. Следы времен минувших).

колпинцы, колпинец

колпинский, -ая, -ое

Колпны (1960). Рабочий поселок в Орловской области. Название, видимо, дано по реке *Колпна*. Гидронимы этого типа – *Колпинец*, *Колпинка*, *Колпино* широко известны в Европейской части России, особенно в Верхнем и Среднем Поочье. В основе гидронима апеллятив *колпъ*, обозначающий разные виды водоплавающей птицы, в частности, самки лебедя, цапли и др. Слово *колпъ* известно в источниках русского языка XVI века (СлРя XI–XVII вв.). Такое название небольшие реки и озера получили потому, что на них гнездились эти птицы.

колпинцы, колпиннец

колпинский, -ая, -ое

Колышлэй. Рабочий поселок в Пензенской области. Возник в 1957 году. В основе названия можно видеть финно-угорское *кол*, *кал* “рыба” (ср. фин. *кала*, марийск. *кол*) и мордовское (эрзя) *лей* “река, овраг”. Название можно объяснить как “поселок на рыбной реке”.

колышлэйцы, колышлэец

колышлэйский, -ая, -ое

Кольчугино (1931). Город во Владимирской области. Происхождение и значение этого названия неясно. Можно предположить, что в основе его слово *кольчуга*, имевшее в русском языке значение “военный доспех в виде мужской рубахи из мелких железных колец”. Вероятно, первоначально от него было образовано прозвище *Кольчуга*, затем фамилия *Кольчугин*.

кольчугинцы, кольчугинец

кольчугинский, -ая, -ое

Комарово. Дачный поселок в Ленинградской области. Название дано в честь В.Л. Комарова (1869–1945), одного из президентов Акаде-

мии наук СССР, известного ботаника. Фамилия (прозвище) *Комар*, *Комаров* известны в русских источниках XVI–XVII веков. Комар – крестьянин, Новгород, 1540 г., Никита Темиров Комаров, Нижний Новгород, 1608 г. (Веселовский. Указ. соч.). В Комарове расположены Дома творчества деятелей культуры и науки.

комаровцы, комаровец, комаровка

комаровский, -ая, -ое.

Коммунар. Рабочий поселок в Ленинградской области, бывшее название – *Царская Славянка*. Современное название дано по местной бумажной фабрике “Коммунар”, в прошлом – Царскославянской (Кисловский С.В. Словарь географических названий Ленинградской области. Л., 1974). В основе названия фабрики слово *коммунар* “член коммуны, коллектива, созданного для совместной жизни на основах общего имущества и труда”. Коммуны возникли в России повсеместно в 20 годах XX века.

коммуна́рцы, коммуна́рец, коммуна́рка

коммуна́рский -ая, -ое.

Комсомо́льск (1950). Город в Ивановской области. В основе топонима слово *комсомол* – сокращенное название Коммунистического союза молодежи, которое довольно часто отражалось в топонимии России, в названиях улиц и площадей наших городов. Это был город молодых строителей Ивановской ГРЭС, и они дали ему название *Комсомольск*.

комсомо́льча́не, комсомо́льча́нин, комсомо́льча́нка

комсомо́льский, -ая, -ое

Конако́во (1937). Город в Тверской области. В основе названия фамилия местного уроженца, революционера Конакова П.П. Фамилия известна с XVII века (Веселовский. Указ. соч.). Более раннее название – село *Кузнецово* по фамилии владельца.

В начале XIX века здесь на местных глинах был основан фарфоровый завод М.С. Кузнецова. *Кузнецовский фарфор* был известен во всей дореволюционной России.

конако́вцы, конако́вец, конако́вка.

конако́вский, -ая, -ое.

Ко́ндрово (1938). Город в Калужской области. В основе названия, вероятно, фамилия *Кондров* (из *Кондырев*). Форма *Кондырев*, видимо, образована от апеллятива *кондырь*, известного в русском языке XVII века в значении “отворот рукава кафтана” или от *кондер* – “вид оружия” (СлРЯ XI–XVII вв.). В диалектах русского языка XIX века оно зафиксировано в значении “стоячий воротник”, “козырек у картуза”, “повязка на голове” (Даль. Т. II). Фамилия *Кондырев* (видимо с ударением на конечном слог) была известна в XVI веке – Кондыревы в г. Мещовске (Веселовский. Указ. соч.). Это поблизости от Кондрова. В процессе употребления заударный гласный претерпел редукцию.

ко́ндровцы, ко́ндровец, ко́ндровка

ко́ндровский, -ая, -ое

Константиново. Село в Рязанской области. Название антропонимического происхождения – по фамилии *Константинов* или по имени *Константин*, принадлежавшим его основателю или одному из владельцев. Фамилия очень распространенная у русских. Родина знаменитого русского поэта Сергея Есенина. Ока, заокские дали стали источником его поэтического вдохновения.

константиновцы, константиновец

константиновский, -ая, -ое

В основе фамилии *Есенин* видится личное мужское имя *Есень* – производное от древнееврейского *Иосиф*, пришедшего к нам через греческий язык и ставшего очень распространенным в виде производных форм: *Осип* → *Ося* → *Оська*; *Есип* → *Есень* → *Еся* → *Еська*. От всех этих форм в русском языке образованы фамилии: *Осипов*, *Осин*, *Оськин*; *Есипов*, *Есенин*, *Есин*, *Еськин* и др. Фамилия *Есенин* известна с XVI века: Иван Есенин – 1565 г., Казань (Веселовский. Указ. соч.).

Концы. Две деревни в Ленинградской области. В основе названия русское диалектное слово *конец*, широко распространенное в современных говорах в значении “какая-либо часть деревни, села; улица”. Известно в древнем Новгороде как “улица”, своеобразная территориально-административная единица города, микрорайон.

концовцы,

концовский, -ая, -ое

Конь-Колодезь. Село в Липецкой области. Название составное. Первая половина – это, видимо, усеченная форма прилагательного *конский*, или *конный*. Вторая часть *колодезь* значит “ручей, маленькая речка, поток воды”. Вероятно, это был удобный водный источник, из которого поили коней. Слово *колодезь* в значении “ручей, маленькая речка, водный поток” очень часто встречается на окско-донской равнине, а также в верхнем и среднем течении этих рек, где часто небольшие речки, овраги носят название *Конский*, *Конный*. Видимо, не везде можно было поить коней, и поэтому функции наиболее пригодных для этого водных объектов становились признаком их номинации.

конь-колодезцы, конь-колодезец

конь-колодезский, -ая, -ое

Копорье (1240)*. Село в Ленинградской области. Значение и происхождение названия не известно. Не исключено, что оно связано с растением *копёрко* или *копоротник*, откуда *копорье* “место, где растет данная трава”. При этом его можно соотнести с современным диалектным *копорушка* “орудие для рыхления, прополки почвы” и однокоренных *копорило* “инструмент для окучивания почвы” (СРНГ. Вып. 14). По этой версии, *копорье* может обозначать “распаханный, разрыхленный участок земли”. Известный фразеологизм *уйти в Копорье* “умереть”, записанный в XIX веке в Олонецкой губернии, может иметь значение не просто “умереть”, а быть “похороненным, зарытым в землю, в могилу”.

В Копорье сохранились остатки стены и башен древней новгородской крепости.

копѳрцы, копѳрец
копѳрский, -ая, -ое

Кораблино (1965). Город в Рязанской области. Известен в рязанских источниках XVI века как село Коробыно, принадлежавшее человеку по фамилии *Коробын* (эта фамилия фиксируется в XV в.). Со временем в связи с утратой смысловой связи с этой фамилией произошла деформация топонима, переориентированного на более понятное *короблин* > *кораблин* > *Кораблино*. Процесс был поддержан местной фонетической особенностью: *муравьи* > *муравли*; *Коробын* > *Короблин*.

Корабьины были известными землевладельцами в Рязанском крае XVI–XVII веков. Им принадлежало несколько селений, в частности, одно из них сохранилось до настоящего времени – село Кораблино под Рязанью.

кораблинцы, кораблинец
кораблинский, -ая, -ое

Корѳча (1638). Город в Белгородской области. Название дано по реке Короча (л. пр. Сев. Донца), на которой основан город. Происхождение гидронима не известно. Если бы ударение было на конечном *и*, то название как результат гиперкоррекции в акающей южно-великорусской среде можно было бы соотнести с тюркским *кара* “черный”, т.е. *Черная река*. Во всяком случае, связь с *Коротояк* – город в Воронежской области и рекой Каратай (XVI–XVII вв.), которые этимологизируются как название тюркского происхождения “берег у черной горы”, не исключается. Видимо, сюда же можно отнести и реку *Сухой Карачан*, село *Карачун* в Воронежской области.

корочанцы, корочанец и корочане, корочанин, корочанка
корочанский, -ая, -ое

Косогѳры (Госагыр). Эрзянское село в Мордовской республике. Другие названия: *Никольское* (*Старые Косогоры* – 1863 г.). *Кергуды Новые* (XVI–XVII вв.). Основатели его – переселенцы из деревни Кергуды Старые, в связи с возвращением Пузской засечной черты.

В основе топонима *Кергуды* мордовское *керъ* “поселение на отшибе” и *кудо* “дом”, которое со временем сильно деформировалось. В основе современного названия аппеллятив *косогор* “искрутой склон возвышенности холма (горы)”, около которого было основано селение.

косогѳрцы, косогѳрец
косогѳрский, -ая, -ое

Котракс (Которкс). Мокшанский поселок в Мордовии. Название представляет собой термин и соотносится со словом *хутор*. Основано как хутор переселенцем из соседнего села во время столыпинских реформ (Инжеватов. Топонимический словарь Мордовской АССР).

Костерѳво (1981). Город во Владимирской области. Происхождение названия не известно, но, вероятно, в его основе лежит фамилия перво-поселенца или одного из владельцев – *Костерѳв*. В основе же фамилии лежит слово *костерь*, которое в русских диалектах обозначает разные виды рыбы, растений. И вообще оно связано со значением “колючий, жесткий” или “лохматый, растрепанный”. Видимо, одно из этих значе-

ний, скорее второе, легло в основу прозвища *Костерь*, ставшего впоследствии фамилией *Костерёв*.

костерёвцы, костерёвец

костерёвский, -ая, -ое

Костромá (1152)*. Город, центр Костромской области. Название дано по реке Костроме (совр. Костромке), у впадения которой в Волгу было основано селение. См. *Костромка*.

костромичий, костромич, костромичка; костромичане и костромичане, костромичанин и костромичанин

костромской, -ая, -ое

Кострома – блудливая (веселая) сторона. *Костромичи* – тамойки. Это прозвище связано с тем, что они вместо “там” говорят “тамойке” (Даль).

Кострómка (Костромá). Река, левый приток Волги. Происхождение названия окончательно не установлено. Ясно одно, что его надо связывать с гидронимами на -ма, ареал которых в Поволжье совпадает с ареалом дьяковской культуры сетчатой керамики, которую датируют 2-й половиной II–I тыс. до н.э., а ее носителями считают финно-угорские племена. Поэтому возможна аналогия с эстонским топонимом *Кострум*, а также с древним языческим обрядом “сжигать кострому”, известным у русских еще в XIX веке: “большое чучело из рогожи и соломы, которое носят с песнями и шутками топить в реке, озере или луже, празднуя проводы весны и встречу страдного лета” (влад., сарат., новг., калуж. – СРНГ. Вып. 15). Не исключено, что основа *костр-* связана с русским диалектным *костерь*, *костра*, *кострица* “жесткая кора растений (льна, конопли), годных для пряжи” (Даль. Т. II). В этом плане обращает на себя внимание предположение Ст. Роспонда о связи гидронима с праслав.* *kostr* “вид травы”, отраженной во многих топонимах на территории западных и южных славян. Предположение о связи топонима с мерянско-мордовским *мас* “красивый”, с древнерусским *костер* “связка леса, бревен” (при сплаве по реке) неубедительны. Аналогичные топонимы известны в бассейне Волги, в частности в Поочье: реки *Костра*, *Костроминка* (деревня *Костромиха* на ней) – все в ареале дьяковской культуры. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что культ Костромы был широко известен у русских и олицетворял плодородие (фигура женщины), у украинцев Кострубонька – чучело мужчины (Мифы народов мира. Т. II).

Котóвск (1940). Город в Тамбовской области, выделившийся из города Тамбова. Название дано в память о Г.И. Котовском (1881–1925), герое гражданской войны, командовавшем кавалерийскими соединениями.

котóвцы, котóвец

котóвский, -ая, -ое

Кóхма (1925). Город в Ивановской области. Название получено, видимо, по реке Кохма (совр. Кохомка) в бассейне Клязьмы. Этимология гидронима не известна, хотя возможно соотнесение его с финно-угорскими гидронимами на -ма.

ко́хомцы, ко́хомец
ко́хомский, -ая, -ое

Красивая Мечá. Река, правый приток Дона. Происхождение названия реки спорно. Некоторые исследователи соотносят вторую часть названия с мордовским *меш (меки)* “пчела”, что затруднительно принять с точки зрения номинации. В.А. Никонов (Никонов. Краткий топонимический словарь), а вслед за ним Ст. Роспонд (Роспонд Ст. Структура и стратиграфия древнерусских топонимов // Восточнославянская ономастика. М., 1972) предлагают объяснить его через удмуртское *мечь* “крутой, обрывистый”, что вполне вероятно. Первая часть названия *красивая* не требует дополнительных разъяснений. Ср. также гидронимы *Меча*, *Мечь* в верховьях Дона, которые также могут быть объяснены через удмуртское *мечь*, т.е. реки с крутыми, обрывистыми берегами, особенно, если учесть то обстоятельство, что Верхнее Подонье находится в зоне распространения поволжско-финской гидронимии.

Продолжение следует



ТОПОНИМИЧЕСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

А.Л. ШИЛОВ,

доктор химических наук

Туристский «Атлас Карельской АССР» (1989) утверждает, что в Карелии есть природно-ландшафтные заповедники *Кивач* и *Костомукшский*, историко-архитектурные заповедники *Валаам* и *Киж*. Но он не упоминает еще один заповедник – *топонимический*, который охватывает всю территорию республики.

Система географических названий Карелии складывалась тысячами по мере заселения ее саамами, затем их отдаленными языковыми родственниками – прибалтийскими финнами (карелами, вепсами) и, наконец, – русскими (с XI в.). Конечно, топонимы со временем и изменялись (подчас до неузнаваемости), и заменялись другими. Но это происходило вполне естественным путем, что, собственно, и сделало Карелию заповедной.

Здесь счастливо сошлись несколько обстоятельств: неизменная языковая принадлежность населения на протяжении длительного времени; «прикрытость» Карелии со всех сторон народами, говорящими на тех же или близкородственных языках; мирный в целом характер освоения ее новгородцами. Они, кстати, пришли в Карелию с земель, где также господствовала прибалтийско-финская топонимия (карельская, вепская, водская, ижорская). Еще одно обстоятельство – очень малое ко-

личество административных переименований в советский период (для сравнения стоит взглянуть, хотя бы, на соседний Карельский перешеек, где древних названий практически не осталось).

Хотя районами со значительной (а затем – и преобладающей) долей русского населения долгое время оставались лишь Обонежье и Поморье, русские названия постепенно расселились по всей Карелии, не оставляя, впрочем, абсолютного большинства даже по сей день. Мало того, если внимательно рассмотреть географическую карту, то за многими из «русских» названий придется признать некоторые странности. Оказывается, часть из них лишь «притворилась» русскими, иные – стали таковыми в ходе адаптации в новых языковых условиях. Порой внешне простые по форме и незатейливые по смыслу названия оказываются ценнейшими экспонатами нашего заповедника. Но обо всем по порядку.

Как возникали русские топонимы? Прежде всего, путем перевода (калькирования) исконных саамских, карельских, вепсских названий. «Русские относятся к названиям, как к эпитетам: как только узнают их значение – сразу переводят на свой язык». Это написано в 1842 году собирателем и исследователем карельского эпоса Элиасом Леннротом.

В берестяной грамоте, датированной 1396 годом, встречается топоним *Коневи Воды*, что является переводом финского названия озера *Оривеси* (оно тогда входило в состав новгородских владений, ныне – в Финляндии). Многочисленные примеры переводов названий мы видим и на страницах Писцовых книг XV – XVI веков: починок старой на *Речном Селе*, слово *Езоконда* (кар. *jogi kondu* «речной хутор») ... деревня в *Губе* ж слово в *Каре* (вепс. *kar* «залив, бухта») ... на *Медвежье наволоке* слово в *Конде наволоке* (кар. *kondij*, вепс. *kondi* «медведь») ... на *Долгом ручью* слово в *Питкое* (кар. *pitkä oja* «длинный ручей») ... на *Воронье поле* слово в *Вариш-палды* (кар. *variš peldo* «воронье поле»); ... деревня *Вагвяярва* на *Крепком озере* (фин. *vahva järvi* «крепкое озеро»), ... *Равдалакиша* на *Железной лахте* (кар. *rauda lakši* «железный залив (лахта)»).

В местах со смешанным русско-карельским (вепсским) населением ряд названий и сейчас известен в двух вариантах – исконном и переводном: *Гладкая гора* – *Lagedmägi*, *Лычный остров* – *Nisuar* (из первоначального *Ninsuar*), *Бык-наволоок* – *Hargoniemi*, река *Каменная* – *Kivijoki* и др. Заметим, что переводные значения часто сохраняли исходную структуру и даже – бессуффиксную форму. Для русской топонимической системы характерна аффиксация: *За-реч-ье*, *Осин-ов-ец*, *Камен-ка*. Нередки и словосочетания: *Великая Нива*, *Медвежья Гора*. В финно-угорской же системе доминирует словосложение: определение + географический термин (или суффикс места, пространственно-ориентирующий послеслог).

Иногда переводилась лишь часть сложного топонима: содержащийся в нем географический термин. Так появлялись финно-русские, карело-русские, саамо-русские гибриды: *Чусрека*, *Перяболото*, *Ламбасручей*, *Пиньгуба*, *Пичепорог*, *Сеймигора* *Пурнаволоок*, *Палалахта*, *Пинь-*

госалма, Кончесельга, Волина-Ламбина, Келеварака. Последние пять названий могут показаться целиком нерусскими, но это все-таки полупереводы. Дело в том, что основные «финские» географические термины стали известны русским довольно рано. Термины, обозначающие наиболее общие географические понятия, были просто приняты во внимание и обычно заменялись в топонимах русскими эквивалентами: *река, речка, ручей, озеро, болото, мох, остров, гора, нос, наволок* (т.е. «мыс»).

Термины, обозначающие реалии, нехарактерные для привычных восточным славянам ландшафтов, как правило, заимствовались (с определенными фонетическими изменениями), становясь фактами уже русского языка: *лахта* «залив» (фин. *lahti*, эст. *laht*), *ламба* «лесное озеро», *ламбина* «озерко; озеровидное расширение реки» (кар. *lambhi*, саам. *lombal*), *карежка* «порожек, перекат» (фин., кар. *kari*), *варака* «гора, скальный массив» (фин. *vaara*, кар. *voara*, саам. *varre*), *луда* «небольшой остров, мель» (фин. *luoto*, кар. *luode*), *нудас* «рукав реки, раздвоение водного стока» (фин. *pudas*, кар. *pivaš*, род. пад. *puধান*, саам. *pautas*), *салма*, древнерусское *соломя* «пролив» (фин., кар. *salmi*, саам. *tsoalme*). Кстати, именно форма *соломя* лежит в основе названия поселка *Соломенное*, которое в современном восприятии ассоциируется, скорее, с *солома*.

Перечисленные термины вошли в лексическую систему северных говоров на равных правах с общерусскими. Об этом свидетельствует форма таких названий, как *Ламбинская дорожка*, деревня *Заламбино* (ср. с *Заозерье*), поселок *Сельги* (ср. с *Большие Горы*); в последнем случае форма множественного числа выполняет чисто топонимическую функцию обозначения поселения (на горе, сельге).

Конечно, не все старые названия переводились. Большой беды в этом и не видели, ведь основная функция топонима – не описывать объект, а выделять его в ряду подобных, т.е. отмечать именно данное, вот это место, эту реку, эту гору. С такой задачей успешно справляются и непонятные слова. Так же, как и географические термины, иноязычные топонимы, будучи «признаны» пришлыми поселенцами, активно включались в словообразовательные процессы. Они могли служить источником и новых названий (дер. *Подужемье* на р. Кемь, известная в 1553 г.; расположена ниже водопада *Ужма*) и обозначения жителей той или иной деревни (ср. в берестяных грамотах конца XIV в.: «*севилакшане, вымольци, сямозерци*») и личных прозвищ, а затем и – фамилий (*Шунгин. Шилекшин. Падмозерцев* в Актах Соловецкого монастыря XVI в.).

Звучать и произноситься такие названия должны были легко, естественно. Поэтому чужие, фонетически «неудобные» названия изменялись, «подстраиваясь» под русский язык и ухо. И вот саамское *Воаррев-ломбал* «беличье озерко» зазвучало, обрусев, как *Борьба-ламни. Цоцка* «межозерный перешеек», как *Шушки*, карельское *Исонохья* «великий залив» трансформировалось в *Сопоха*.

Заметим, что точно так же карелы саамское *Цоцка* (другое) переде-

лали в *Соскуа* (которое русские, в свою очередь, превратили в *Сошково*), а русское *Заозерье* – в *Сассери*. Порой чужие названия долго обкашивались русской речью, прежде чем какой-то вариант утверждался окончательно. Так, название реки *Чажва* в одном и том же документе 1540 года мы видим в вариантах: «... да и *Чажба* река... и под *Чажво* наволоком тоня, да и кочры ставити в *Тяжвой* губе... по *Чажво* реке». Или деревня *Шолопово* в разные времена называлась *Шолопонье* (1552), *Шолопогья* (1728), *Шелопальская* (1972), *Шелапогская* (1890). И если современное название наводит на мысль о прозвище *Шелоп* или фамилии *Шолопов*, вариант *Шолопогья* – о финском *suola rohja* «соленый залив», то первичное *Шолопонье*, вкупе с положением деревни (у волока с Топозера в бассейн реки Поньгомы), указывает, прежде всего, на саамское *išeljje-roppe* «залив (у) водораздела».

Порой названия укорачивались, теряя группу звуков на стыке своих двух частей: *Рамполе* из *Рандупуоли* «береговая сторона», *Лебनावолок* из *Лембойनावолок* (*lemboi* «черт»), *Лехनावолок* из *Легть-नावолок* (*lehti* «роща»), *Койкары* из *Койвукари* «березовый пережат», *Питкусоски* из *Питкуоски* «длинный порог».

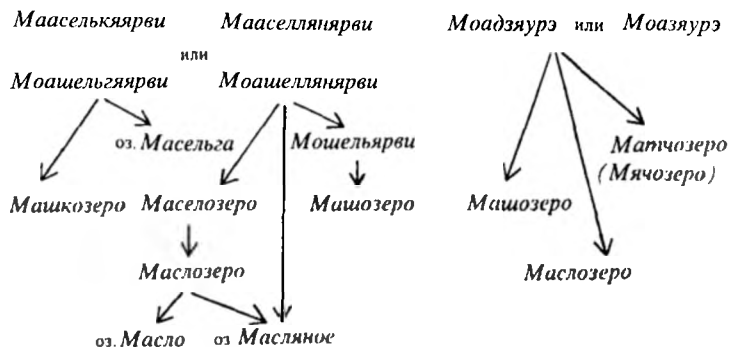
Нередки и случаи метатезы (перестановки звуков): *Мурдостров* → → *Мудростров*, *Симанэс* → *Синамус*, *Лоукса* → *Лоушка*.

Нерусские топонимы обретали окончания, отвечающие грамматическому роду термина, обозначающего вид объекта в русском языке: река *Можки* → *Можка*, но остров *Ромбаки* – *Ромбак* (ср. также: гора *Ноттоварака* и хребет *Костливый Варак*). Со временем массово обретают уменьшительные суффиксы имени рек, при которых возникли одноименные поселения: *Олонец* (и г. *Олонец*) – *Олонка*; *Повенец* (и пос. *Повенец*) – *Повенчанка*; *Остречина* (и село *Остречины*) – *Остречинка*; *Лояница* (дер. *Усть-Лояницы*) – *Усланка*, то есть топонимы, нерусские по происхождению, становятся во многом русскими по структуре.

Процесс усвоения массы чужеродных названий сочетает две основные противоположные тенденции. Первая – это нивелировка, сведение группы созвучных названий к единой модели. Так, названия, содержащие в основе саамские *varra* «путь», *varre* «лес, лесистая гора», финское, карельское *vaara*, *voara* «гора», финское, карельское *väärä*, *viärä* «кривой» у русских превращались в названия с одинаковым начальным *Вара-*. Противоположная тенденция – неадекватное восприятие и употребление разными группами населения названий, исходно тождественных, которые, однако, в русском бытовании в конце концов могут потерять всякое сходство. Хороший пример – названия озера и реки *Арянукс* в бассейне Лужмы и поселок *Воренжа* на реке Суме, произошедшие из саамского *jawrentš* «озерко; обособленный залив озера».

А теперь объединим уже описанные процессы усечения, нивелировки и расхождения форм названий. Ограничимся примером озерных имен, порожденных двумя терминами: финским *maaselkä* (род. пад. *maasellän*) или карельским *moašelgä* (род. пад. *moašellän*) «водораздел»

и саамским *moadz* (род. пад. *moaz*) «изгиб, излучина»:



Построение этой схемы стало возможным благодаря тому, что соответствующие названия в Карелии многочисленны и к тому же представлены в формах, в разной степени отличающихся от первоначальных. Доказательность нашей реконструкции подкрепляется тем, что в ряде случаев промежуточные формы названий зафиксированы в старых документах (*Маселозеро* – *Маслозеро* – *Масляное*; *Масельское* – *Машкозеро* и т.д.), или же названия известны в русском и карельском вариантах (*Муазярви* – *Маслозеро*, но *Моазярви* – *Мишозеро*). Многие могут сказать и физико-географические реалии. Так, *Мишозеро*, лежащее в бассейне реки Лососинки, имеет овальную форму. Тем самым слово *moadz* «изгиб» в его названии неуместно. Зато озеро лежит у водораздела (*maaselkä*) с рекой Деревянкой и притоками реки Свири. Мало того, судя по близлежащим «путевым, волоковым» топонимам, здесь проходили древние водно-волоковые пути. Следовательно, «водораздельность» озера была для местных жителей признаком очень существенным, заслуживающим быть отмеченным в его названии.

Помимо процессов усечения, расхождения формы одного названия и, наоборот, сближения форм исходно различных названий, приведенная ранее схема наглядно демонстрирует еще два важных явления, связанных с «переработкой» названий. Первое – это «втягивание в ряд» (термин В.Н. Топорова). Никакими фонетическими соображениями нельзя обосновать превращение саамского *Моазъяурэ* (финское *Муазярви*) в русское *Маслозеро*. Здесь русское название возникло по аналогии с другими *Маслозерами*, многочисленными в Карелии. «Втягивание в ряд» можно видеть и на примере деловой записи второй половины XV века: «...о селах Кондрушских и Мандрегских...». Здесь *-р-* в первом наименовании появилось явно под влиянием второго, ведь вообще-то речь идет о названиях *Кондуши* и *Мандрога*.

Со вторым явлением связано возникновение большой группы названий: русских по виду и по смыслу, но нерусских по происхождению. В

какой-то момент чужое название может оказаться созвучным слову родного языка и воспринимается в соответствующем значении. Происходит так называемое переосмысление. Это событие сразу фиксирует форму основы топонима. Дальнейшее изменение если и происходит, то уже не по законам фонетики: *Маслозеро* → озеро *Масляное*. Случаи переосмысления можно выявить при наличии письменных памятников, содержащих исконную форму названия. Например, о том, что имя *Соколозеро* происходит не от русского *сокол*, свидетельствует Писцовая книга 1608–10 гг., где озеро названо *Совгало*.

Лишь малая часть экспонатов нашего заповедника «паспортизирована» с давних времен. Чаще всего распознавать дорусские топонимы, обретшие русское обличье, помогает семантика «нового» названия, резко расходящегося с обликом соответствующего объекта. Подозрение вызывает и многократное повторение одной и той же «русской» основы в названиях однотипных географических объектов, например, группа топонимов с основой *Лис-*: река *Лисья*, озеро *Лисье*, *Лисья губа*, *Лисий наволоок* и т.д. Лисы в Карелии водились, но не только же в устьях рек. Да и не всяких рек, а лишь тех, что образуют протоки в устье (а именно к подобным местам привязаны наши названия). Так что правильное будет связывать эти топонимы не с *лисой* (зверем), а с финским *lisiä* и карельским *liža* «добавка; приток». Очевидно, что ранее это слово могло означать и «протока». О том, что этот термин действительно был активен в образовании топонимов, свидетельствует имя порога *Леполису*, расположенного в протоке реки Суны.

В низовьях реки Выги находится поселок *Золотец*. Свое имя он получил от порога *Золотец* (существовал до постройки Беломорско-Балтийского канала). О золоте тут и не слыхивали, зато порог располагался «...у Золотча на острову» (см. в документах XV в.), остров по-саамски *suol* (*suoladz* может означать как «островок», так и «место (объект) у острова»).

Не вдаваясь в подробности, укажем также, что в названиях *Заяц-сальми* и *Олень-лампи* нет ничего «звериного». Первое произошло из саамского *tsaaijes* «мелкий», второе – из карельского *olgi* – род. пад. *oljen* «трава, осока».

Любопытно, что в разные времена чужие названия воспринимались русскими в общем-то одинаково. Мы не знаем, как первоначально называлась река, о которой пойдет речь (возможно – *Kurten oja* «журавлиный ручей»), но в Писцовой книге 1500 года записано «деревня Коринная на реке на Коринной». В 1617 году территория, по которой протекала река, вошла в состав шведской Финляндии, а вновь русское «подданство» река обрела уже под именем *Койринйоки*, а деревня на ней – *Койриноя*. Так вот, нынешнее русское население в обиходе называет деревню *Коренное*. Еще один современный пример: К.А. Андреев, автор книги «Редкие деревья Карелии» (Петрозаводск, 1986) в названии *Кедрозера* бассейна реки Лижмы усматривает хвойное дерево *кедр*. На самом же деле это название (да и другие с основой *Кедр-*) – результат русского освоения карельского *tedri järvi* «тетеревиное озеро».

Замена *Т*- на *К*- произошла в результате т.н. диссимилиации (расподобления сходных звуков *т* – *д*). При этом переосмысления на местной почве произойти не могло, ибо кедр в Карелии естественным образом не произрастает.

Не застрахованы от подобной участи и исконно русские топонимы. Из Писцовой книги 1563 года известна «деревня на *Гостилове Наволоке*» на озере Водлозере. Происхождение названия раскрывает берестяная грамота начала XV века (на это впервые указал А.И. Попов): в этих краях жил некий *Гостило*. Как и многие другие, это нехристианское имя вышло из обихода, что и позволило названию со временем сократиться до *Гость-наволок*. А здесь уже явно «чувствуется» основа *гость* (что раньше, кстати, значило «купец»).

Вот образец кабинетного переосмысления: порог *Заборный* на реке Кереть Л.В. Руфом (Север. М., 1975) назван *Запорным*, вероятно, в предположении, что этот сложнейший порог «запирает» путь в реку. Автор явно не знал, что на Севере *забором* называют сооружение на порогах для ловли рыбы: «...а в реке в Керети ловля красные рыбы семги, ловят двумя заборами всей волостью» (из грамоты 1563 г.).

Переосмысления могли происходить и не напрямую, а через данные чужого (иногда – третьего) языка. Во-первых, один народ (например, карелы) мог передать другому (русским) уже переосмысленное им чужое название (саамское). Далее это название могло быть переведено на русский язык, но переводилось, естественно, не исходное название, а то (карельское) слово, к которому оно было «подогнано» при переосмыслении.

Во-вторых, возможен случай ложного перевода чужого названия, созвучного с чужим же, но известным по своему значению словом. В обоих случаях возникала так называемая ложная калька.

Так, явно ложными кальками является ряд русских названий с определением *Большой*, *Большая* (названия-то принадлежат как раз маленьким объектам). Очевидно, что здесь лежащее в основе исходных названий саамское *tšiwre* или карельское *tšingra* «камень, булыжники» было ошибочно принято за карельское слово *šingri* «большой». Еще пример: *Коссо-озеро* (название которого восходит, очевидно, к саам. *kuossa* «ель») карелы называют *Виикатехярви*, видимо «услышав» в его названии русское слово *коса* (в значении «инструмент для косьбы»), по-карельски *viikateh* (заметим, что на современных картах это озеро значится как *Косое*).

А теперь представим результат наложения процессов фонетической адаптации, переосмысления и ложного калькирования в разных языках. Саамское *vilegai* «мелкий» дало в современных топонимах такой букет: реки *Вилга* и *Вилига* (здесь дело ограничилось фонетической адаптацией исходных названий), озеро *Великозеро* (чувствуется, что здесь остался лишь один шаг до превращения в озеро *Великое*), ручей *Великий* (длина его 7 км), река *Великая* (13 км), озеро *Великое* (площадь около 3 кв. км).

В последних названиях процесс фонетической адаптации завершился переосмыслением, несмотря на несообразность нового значения образующих названий с размером именуемых объектов. Созвучие же саамского *villegai* «мелкий» с карельским *vilja-jogi* «хлеб-река» привело к появлению ложных калек типа река *Хлебная*.

Другая группа ложных калек: река *Белая*, озеро *Белолампина*, *Белое Лампино* возникла благодаря созвучию *villegai* уже с иной группой слов: саамским *vilgkes'* или карельским *valgei*, что значит «белый». Не надо, однако, думать, что в каждом «белом» карельском названии кроется подобный подвох. В Карелии есть и истинно «белые» имена. Так, мощный порог *Белый* на реке Кеми мог получить свое имя из-за множества кипящих бурунов, или (скорее) по цвету приметных правобережных скал. Деревня *Белая Гора* обязана своим именем залежам мрамора, «сысканным» в 1764 году – кстати, мрамор отсюда доставляли на строительство Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

Раз уж мы упомянули о *Белых* реках и озерах, поговорим и о *Черных*. Казалось бы, тоже обычные русские названия, но всегда ли это так? Они, действительно, могут быть исконно русскими и характеризовать, скажем, цвет воды или тип береговой растительности: например, чернолесье (т.е. ольхи, осины и т.п.); либо отражать какое-либо иное обстоятельство. Они, наконец, могут присваиваться просто по контрасту с названием соседнего объекта: ручей *Черный* (приток р. Выги), вытекающий из озера *Светлое*. Название может быть и переводным, как у островов *Большой* и *Малый Черные* близ мыса *Чапин* (из саам. *tšappes* «черный»). Но они могут быть и результатом переосмысления по созвучию.

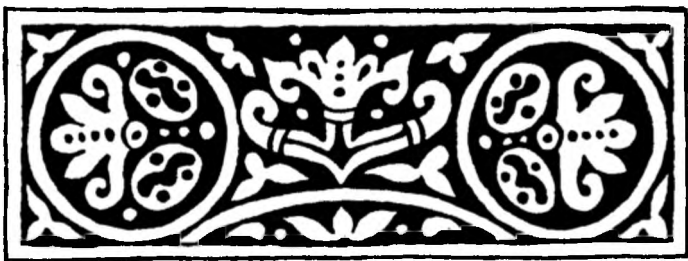
Посмотрим на названия озер *Чернозеро* (в бассейне р. Колежмы), *Чирнозеро* (в бассейне р. Лужмы) и *Чорнозеро* в истоке реки Чорени (в бассейне Выгозера). Мы видим, что от первого названия всего один шаг до превращения его в озеро *Черное*. Но так же ясно, что два других – нерусские по происхождению.

Чорнозеро входило в один из основных водно-волоковых путей Карелии – с Онежского озера на Выгозеро и дальше рекой Выгом до Белого моря (об этом свидетельствуют и документы и цепочка «путевых» топонимов вдоль этого пути). Именно на *Чорнозеро* шел когда-то волок из Узких озер мимо горы *Масельга*. Поэтому это название логично связать с саамским *tšorra* «хребет», часто выступающим в топонимах со значением «водораздел».

Иные же значения могут возникнуть и из знакомых нам уже *tšiwre*, *tšuirga* «камень, булыжники», *tširn*, *tšuiran* «каменистый». Одним словом, многие из озер и рек могут оказаться не *черными*, а *каменистыми* или *водораздельными*. Конечно, в каждом конкретном случае это нужно доказывать. Если «каменистость» речки *Черная* (приток р. Гумарины) можно предполагать по грохоту, производимому ею, то для ручья *Черный* (приток р. Важинки) есть иного рода свидетельство: он вытекает из болота *Сомер*, а финское *somero* значит «булыжники, галька».

Еще один, последний пример на эту тему (ее продолжение читатель может найти в книге автора "По Суне плыли наши челны"): название порога *Кожаный* на реке Охте возникло в результате ошибочной трактовки саамского *njahk* «сиг», как финское *nahka* «кожа».

Окончание следует



А. Ремизов: «Иду по словесной русской земле в веках...»

В.Ю. ДОРОЖКИНА

Русский писатель Алексей Михайлович Ремизов снискал славу редкостного знатока не только книжного, но и народного, фольклорного слова. Искусно “правя рулём в океане русской речи” (А. Блок), он использовал эти знания в высоких художественных целях; и его справедливо называют воскресившим слово.

Сочинения Ремизова необыкновенно разнообразны в тематическом, жанровом и стилистическом отношении. Среди них произведения о современности и современниках (“Взвихренная Русь”, “Подстриженными глазами”, “Пруд” и т.д.), сказки (“Посолонь”, “Докука и балагурье”), вольные пересказы древнерусских апокрифов (“Лимонарь”) и патериковых рассказов (“Прения Живота и Смерти”, “Киево-Печерский патерик”). Немало известен Ремизов и как перелagateль древнерусских легенд и народных сказок. Обработывая фольклорные материалы, памятники древне- и старорусской литературы, он ставил перед собой задачу “воссоздания нашего народного мифа” и поэтому закономерно обращался ко всем “стихиям”, в которых бытует русское слово, обнаруживая талант художника- “словопреобразователя”. Народно-поэтические традиции в этой сфере его творчества в большой степени характеризуют идиостиль писателя, органично взаимодействуя с разговорным началом.

Сложный, но “соразмерный и сообразный” (А.С. Пушкин), узор ремизовского слога можно показать на примере его повести “О Петре и Февронии Муромских”, перевоссозданной по известному старорусскому первоисточнику (Ермолай-Еразм. Повесть о Петре и Февронии. Авторский вариант // Повесть о Петре и Февронии / Подг. текстов и иссл. Р.П. Дмитриевой. Л., 1979). Являясь самобытным художественным произведением, повесть строится на основе фольклорного сюжета.

К жене муромского князя Павла в облике мужа прилетает огненный Змей. Княгиня узнаёт, что его смерть будет от “Петрова плеча, от Аг-

рикова меча". Брат Павла, Пётр, находит чудесный меч и убивает Змея, но, обрызганный его кровью, тяжело заболевает. Никому не удаётся исцелить князя. И только премудрой деве Февронии, дочери бортника, это под силу, но при условии, что тот возьмёт её в жены. Выздоровев, Пётр отрывается от обещания, и болезнь возвращается к нему с новой силой. Феврония вновь исцеляет князя, и в Муроме играют свадьбу. Супруги достойно прошли земной путь и покинули мир в один день, оставив легенду о "неразлучной любви, человеческой волей неразрешимой".

Ремизов сохраняет основные фольклорные образы: *дева Феврония и её волшебный заяц, "дикиноно такой"; огненный летучий Змей; Пётр-змееборец; Агрик; Агриков меч*. Усиливая фольклорные ассоциации, он обогащает поэтическое пространство текста новыми, не упоминавшимися в сочинении Ермолая-Еразма, героями фольклора: Илья Муромский, Добрыня, Тугарин Змеевич, карлик Котопа, Крапива.

Обращение к фольклорным мотивам обусловило использование традиционно-поэтических формул. Это постоянный эпитет (*дремучие леса*) и многие словосочетания, соотносимые с ним: *синяя заря, белый собор, белые цветы, белые палаты, богатырская память, белые церкви*. Это и восходящие к фольклору поэтические плеоназмы: *мысли и помышления, как цветы цветёт, загадки загадывать, расцвела цветами, сказывал сказки, нечувством чует*. В повести встречаются словосочетания фольклорного характера, в состав которых входят приложения: *змей-белые крылья, змей-бумажные крылья*: "...Ольга любила слушать, как он (Ласка) рассказывает, от него она знает о Змее – огненный, летучий. Змей, бумажные крылья – чудесная сказка!"

Фольклорная образность тесно переплетается в повести с другими языковыми стихиями. Особенно отчётливо они обнаруживаются в синтаксических красках художественной палитры писателя. Эти краски определяются сказовой формой изложения, конструированием образа повествователя. Рассказ ведётся от третьего лица, но при этом явно ощущается правдивость изображаемого: произведение приобретает особую достоверность, так как изложение и осмысление происходящего подаются как бы с точки зрения очевидца.

Книжная окраска текста представлена не только высокой и старославянской лексикой, но и характерными литературными построениями. Это прежде всего причастные обороты, некоторые односоставные конструкции и глагольные словосочетания. Например, такие односоставные предложения, как назывные: "Муром город в русской земле, на Оке. Левый высокий берег"; "Всенощная кончилась. Пустая церковь. А Пётр... один стоял у креста". Возникая в описательных фрагментах текста, они ассоциируются с книжно-литературной традицией и привносят несколько возвышенный, поэтический оттенок в повествование.

Широко использует Ремизов глагольные словосочетания с ощущаемой книжной стилистической окраской. Это конструкции обстоятельственной семантики, употребление которых мотивировано тем, что,

передавая события, писатель стремится акцентировать состояние персонажей, их восприятие происходящего: *обнял горячо, сказал глухо, посмотрел гадливо, молился тупо,дохнул резче, потупилась виновато, говорит безразлично, поднял высоко, посмотрел недоверчиво*. Этой же цели служат и словосочетания, выступающие как составные именные сказуемые: *поднялся чист, показался неожиданный, вернулся счастливый, вышел обожжённый* (“На отлёте птиц он (Павел) вспомнил о своей голосистой и актуальный членение предложения. М., 1976. С. 139). Эпически окрашенные конструкции вносят в повествование оттенок приподнятости и могут ассоциироваться с фольклором или литературной книжностью. В повести Ремизова мы встречаем и фольклорно-эпическую окраску (“Был у Павла брат Пётр... А был Пётр не в Павла...”; “И решили везти Петра в Рязань: почему не попробовать...”; “Шла слава на Руси...”), и литературно-эпическую (“И погасили свечи, и последние монашки чёрными змеями расплзлись из церкви”).

К специфическим проявлениям книжного языка относятся также и синтаксические построения с эпической окраской. Это “конструкции с инверсией глагольного сказуемого, являющегося частью нерасчленённой предикативной группы” (Ковтунова И.И. Современный русский язык: Порядок слов и актуальное членение предложения. М., 1976. С. 139). Эпически окрашенные конструкции вносят в повествование оттенок приподнятости и могут ассоциироваться с фольклором или литературной книжностью. В повести Ремизова мы встречаем и фольклорно-эпическую окраску (“Был у Павла брат Пётр... А был Пётр не в Павла...”; “И решили везти Петра в Рязань: почему не попробовать...”; “Шла слава на Руси...”), и литературно-эпическую (“И погасили свечи, и последние монашки чёрными змеями расплзлись из церкви”). Эти особенности синтаксиса несут заряд экспрессивности, эмоциональной напряжённости, помогают воссозданию мира чувств и переживаний героев.

В синтаксической организации отдельных фрагментов текста прослеживаются и древнерусские языковые традиции. Есть фразы, построение которых напоминает структуры старорусского языка, каким он предстаёт перед нами в средневековых книгах и грамотках, деловых актах: “Не звери и птицы, *которые звери рыскали и птицы порхали* в его (Павла) охотничьих мыслях, огненный Змей кольчатый шуршал белыми крыльями”; “Агриков меч есть, но где богатырь кому владети?” (Ср. с образцами “приказного языка”: “А будут *которые Воеводы проезжих грамот кому вскоре давати не учнут, и тем учинят кому проston и убытки, и в том на них будут челобитчики, и сыщется про то допрям...*” (Уложение 1649 года // Хрестоматия по истории русского литературного языка. М., 1974. С. 179); “А будет кому лучится ехать (...) в иное государство, *которое государство* с Московским государством мирно, (...) без проезжей грамоты ему не ездить” (Там же).

Исторический колорит повествованию придают и отдельные архаические конструкции, искусно вплетаемые писателем в словесную ткань текста. Например: *заставу стоять, стоял у праздника, душа вышла встречу другой* и т.д.

Древнерусские по своему облику ремизовские фразы в тексте не воспринимаются как явления чужеродные, как преднамеренная стилизация – их нельзя не признать органичными, стилистически точными, воссоздавшими дух произведения и колорит эпохи. Такая оценка совпа-

дает с самооценкой писателя, который неоднократно подчёркивал: “Я никогда не был копиистом, нигде не говорил, что пишу и чтоб все писали как в XVI–XVII, я повторял и повторяю, что русским надо следовать в направлении природных русских ладов, выраженных отчётливо в приказной речи XVI–XVII и на этой словесной земле создавать *свою* речь...” (Из писем А.М. Ремизова (1945–57) // Кодрянская Н.В. Алексей Ремизов. Воспоминания о писателе. Париж, 1959. С. 243).

К самым ярким чертам синтаксиса в повести Ремизова относятся конструкции, воспроизводящие особенности разговорной речи. Именно они доминируют в тексте. Прежде всего это структурно неполные, эллиптические построения: “Пётр всякий день приходит к Павлу... *От Павла к Ольге проведать*”; “*С амвона Ласка со свечой и манит его*”; “Прямо с охоты, не заходя к себе, *Павел незаметно в горницу к Ольге*”. В незамещённых синтаксических позициях мы находим здесь любые члены предложения, особенно частотны конструкции с нулевым сказуемым: “...муж входит к жене, когда ему любо, а *жена ни на шаг*”; “И как плыть из Болгар с Волги, *издалека в глаза белыми цветами земляники*...”

Частотны и построения, в которых эллиптировано несколько членов предложения одновременно: “И наутро не мог утерпеть и сейчас к Ольге. *Грубо растолкал*”; “Муромские ворожеи, кого только ни спрашивали, ни шёпотом, ни духом, ни мазью, ни зельем не помогли, *хуже*”.

Разнообразны и типично разговорные конструкции, стилистическая окрашенность которых усиливается благодаря лексическому наполнению: *не скажешь охотник; у бояр на счётке; экий впёрся какой серебряный; всё шло ничего; ей ещё остались пустяки* и т.п.

“Разговорный” характер придаёт повествованию и обилие субъективно-модальных и эмоционально-экспрессивных частиц. Как известно, они неотъемлемый атрибут и принадлежность почти исключительно разговорной речи: “*Сами-то* сказать ей в лицо не смеют, боятся...”; “И у бояр кулаки разжались: *изволь, хвастай* умом, хорош!”.

Многочисленны и разнообразны предложения с разговорной окраской. Их структура отличается препозицией того компонента, который несёт на себе сильный акцент: “*Ко всемогущей* он (Павел) ей (Ольге) не велел, а пошёл один в собор”; “*Не узнать было* его голоса...”; “*Перемену* Пётр заметил, но не смел спросить”; “*Зубами* прижался к золотому холодному кресту и обожжённый вышел”; “Он *на зайца* взарился: диковинно такой заяц”.

В тексте активны и бессюзные связи, которые издревле были принадлежностью преимущественно устно-разговорной сферы речевого общения: “На Петра диву давались: вот что может колдовство; пропал человек, а гляди, не найдёшь ни пятнышка”; “Нагруженные муромским добром плыли суда по Оке – путь на Волгу в Болгары”; “Гридя не понял скрытое за словами испытание воли; ничего неожиданного не показалось ему в этом слове”; “И с этих пор что бы ему (Петру) ни говорили на Февронию, его не смущало: вера в человека гасит всякое подозрение легко и открыто...”

Указанные синтаксические особенности придают повествованию “разговорный” характер, создают впечатление непосредственного рассказа-импровизации, иллюзию самостоятельности героя-рассказчика.

Организация ремизовского текста определяется “сознательным конструктивным пересечением разных языковых сфер” (В.В. Виноградов); каждая из них занимает своё место в структуре повести. Здесь и фольклорная образность, и монологические построения книжного языка, и синтаксический узор древнерусских сочетаний, и стихия народно-разговорной речи – доминанта всей композиции. Тонкий художник, Алексей Ремизов в полной мере воспользовался своими огромными познаниями книжника и знатока фольклора. Его язык сверкает россыпью находок, пленяя сочностью и свежестью, густотой письма и пластичностью слога.

Санкт-Петербург



“Питьё” – метафора любовного вожделения: её обрядовые корни

Т. В. ЗУЕВА,

доктор филологических наук

Одна из основных природных стихий – вода – обрела богатую семантическую палитру в поверьях, обрядах, фольклоре разных народов. Широко известно “*питьё*” в значении полового влечения или сближения. В фольклоре славян эта метафора традиционна.

В сказках, балладах, обрядовых песнях и причитаниях повторяется повествовательный мотив, который можно назвать “брак у воды”:

Пашли девушки купатца,
Паскидали ўсе рубашки;
Аткуль ўзяўся вор Игнашка,
Украў Химину рубашку
С кужельными рукавами...

(Смоленский этнографический сборник. Сост. В.Н. Добровольский. Ч. 4. М., 1903. С. 217).

“Утицы спустились на взморье, сбросили с себя крылышки – и стали прекрасные дѣвицы, кинулись в воду и давай купаться. Стрелок подполз потихоньку и унёс золотые крылышки. Дѣвицы выкупались, вышли на берег, начали одеваться, начали навязывать крылышки – у Марьи-царевны пропажа объявилась: нет золотых крылышек” (Народные русские сказки А.Н. Афанасьева: В 3 т. М., 1984–1985. № 213).

В большой группе белорусских мифологических песен о женщине-птице прямо говорится, что для перевоплощения ей необходимы птичьи перья и крылья. А в сказках на сюжет “Муж ищет исчезнувшую или похищенную жену” жена-волшебница, получив свои чудесные крылья, снова превращается в птицу и улетает. Подобным образом в

сербской балладе улетает от пастуха его чудесная жена – самодива: “И вытащил он одежду, / Вытащил и жене подал. / А Марийка взвилась вихрем / Да из трубы – наружу...” (Песни южных славян. М., 1976. С. 55).

В македонской сказке пастух завладел сорочкой купающейся русалки, и она вынуждена была стать его женой. Позже русалка выманила свою сорочку, надела её и улетела. Пастух нашёл жену, вернулся с ней в родное село, “снял с жены рубашку и сжёг, чтоб исчезла русалочья сила” (Сказки народов Югославии. М., 1991. С. 173–177).

В мифологических балладах южных славян “брак у воды” варьируется тематически. Например:

К самодивам тихо подкрался
И у них утащил одежду.
Самодивы на берег вышли,
Все три без рубашек, нагие...

(Песни южных славян. С. 53).

Сербская баллада изображает “солнцеву сестрицу”:

Как в кринице ледяна водица,
На водице серебряный стульчик,
А на стуле да красна девица:
По колена желты у ней ноги
И по плечи золочёны руки,
А волосы – нити шелкóвые.

Земной человек (паша) осмелился её посватать, но поплатился за это жизнью (Сербские народные песни и сказки из собрания Вука Стефановича Караджича. М., 1987. С. 31).

Многочисленные типологические соответствия этому мотиву обнаруживаются и у других народов.

Славянские весенне-летние обряды (Троица, русальная неделя, Иван Купала, Петров день) были пропитаны любовной тематикой, как в этой короткой троицкой песне:

Берёзонька кудрявая,
Ой да елью-елью, кудрявая!
Ой да у нас молодец неженатый,
Ой да елью-елью, неженатый!
Ой да у нас девица не отдата,
Ой да елью-елью, не отдата!

(Поэзия крестьянских праздников. Л., 1970. № 573).

Здесь припев “елью-елью” – позднее переосмысление древнеславянского ритуального возгласа, трансформированного в песенные припевы типа “ай, люли, ай, люли”, “дид-ладо-лель” и проч., а некогда обращённого к андрогинному солнечному божеству Лелю или Ляле-Леле (Ладе-Ладю-Ладу).

Исследователи славяно-русской мифологии уже давно рассматривали Ладю-Леля как неопределённого пола языческое божество солнца,

весны, любви, плодородия, согласия и веселья. А.С. Фаминцын подчёркивал, что в песнях преобладает женская форма имени. Он считал Ладу, Купалу и Ярилу разными наименованиями одного образа (Фаминцын А.С. Божества древних славян. СПб., 1884. С. 280–281). Ещё раньше И.И. Срезневский писал: “Солнце было обожаемо под различными названиями {...}. К божествам солнечным принадлежали: Хорс-Дажьбог, Волос, Сварожич, Радагаст, Святovid, Яровит, Ясон и пр.” (Срезневский И.И. Об обожании солнца у древних славян. СПб., 1846. С. 49). Подобное суждение высказывал и В.Ф. Миллер: “Лель – один из эпитетов бога чувственного возбуждения Ярилы”. Рассматривая близнеца миф в “Ведах”, у античных греков и у славян, исследователь сопоставил Лада-Ладу с ведийскими близнецами братом и сестрой Ямом и Ями. Он считал, что “ни одно божество языческого периода не пропало бесследно, как не исчез из языка ни один из важнейших глагольных корней” (Миллер В.Ф. Очерки арийской мифологии в связи с древнейшей культурой... М., 1876. С. 318–323, 266).

В календарном фольклоре весенне-летнего цикла известны величальные песни, напоминающие свадебные. Р.Ф. Кирчив наблюдал подобную традицию в Карпатах. Здесь сохранился уникальный реликт обрядовой поэзии – “ладканки”, исполнявшиеся для скота (овец, но главным образом коров и тёлочек) в Егорьев день или на Троицу (Кирчив Р.Ф. Отзвуки архаической обрядности в весенней поэзии украинцев Карпат // Сов. этнография. 1988. № 2).

“Ладканки” (с корнем *лад*) – это старинные свадебные величальные песни, которые свахи не просто пели, а “ладкали” (особый вид исполнения). Близкое название имели песни весенних обрядов Хорватии – в день Св. Юрия их “ладали” певичцы, за что по характеру пения они назывались “ладовицами” (Воропай Олекса. Звичаї нашого народу: Етнографічний нарис: В 2 т. Київ, 1991. Т. 2. С. 30). О подобных песнях упомянул А.Н. Веселовский. На шестой неделе поста их исполняли болгарские девушки. Учёный писал: «*Убранные цветами* они ходят по домам к своим родным и несут корзинки, куда собирают *яйца*; им дают белое яйцо, хлеб, который называется *кукла*, серебряную или золотую монету и разные фрукты. Обход сопровождается песнями. Возрастные девушки в этот день собираются “ладувать” у реки, причём гадают, бросая в реку венки, и поют. Ладиные песни поминают *Илью*, *Николу*, *Лазаря* {...}» (Веселовский А.Н. Разыскания в области русского духовного стиха. VI–X. СПб., 1883. С. 313–314).

Русские, по-видимому, утратили как само название “Ладиных песен”, так и манеру их исполнения. Однако некоторые следы обряда сохранились. В июле 1939 года Б.А. Рыбаков наблюдал, как “играли Лелю” в селе Гочеве Курской области. Он писал: “Под вечер на большой площади собралось несколько десятков старух, женщин и девушек (включая подростков) в особых, хранимых для этого случая белых одеждах. Они все образовали огромный, очень торжественный хоровод и, подняв руки к небу и медленно притоптывая, двигались по кругу. При этом пелись свадебные песни. Мужчин вокруг хоровода не было даже в ка-

честве зрителей” (Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., 1981. С. 405).

Давно зафиксирован разгульный характер купальской ночи, когда девушка, становясь “покрыткой”, навсегда теряет право носить венки. Она должна была сменить его на бабий платок. М.Е. Соколов, отмечая, как и А.С. Фаминцын, женскую ипостась Ярилы (Яра), именуемого также “Яровица”, обратил внимание на заговор из Архангельской губернии, в котором упоминается “покровительница любви и разврата Яровица-Блядовица” (Соколов М.Е. Старорусские солнечные боги и богини. Симбирск, 1887. С. 112).

В обрядовой песне ей, вероятно, соответствует Купала:

Купала на Ивана!
З кім я спала, усе прапала.
Купала на Ивана!
Пад алешкам – із Цярэшкам,
Купала на Ивана!
Пад асінай – із Васілем,
Купала на Ивана!
Пад ганачкам – з Міхалачкам,
Купала на Ивана!
Із Мікітам – пад ракітам,
Купала на Ивана!
А з Ягорам – пад яворам.

(Купальскія і пятроўскія. Мінск, 1985. № 231).

Свадебный фольклор сохранил подобные отзвуки. Например, в песне невеста изображалась лежащей на “кроватушке” “под яблоней кудрявою, под грушею зеленою”. Перед ней стоят “три молодца” – жених и дружки. Они просят “испить”. Невеста отвечает:

– От всех мне пить и пьяной быть,
Мне всех любить, так битой быть!

И обращается к жениху:

– Душа моя, я вся тлая!
Вся суженая, вся руженая...

(Песни, собранные П.В. Киреевским. Новая серия. Вып. 1: Песни обрядовые. М., 1911. № 188 (19)).

Некоторые этнографы считают, что свадебный обычай “вскрытия” невесты и определения её “почестности” – явление позднее, связанное с распространением церковного брака, требовавшего сохранять целомудренность до свадьбы.

“Питьё” как метафора чувственной любви откровенно обыгрывалось в тех свадебных песнях, которыми жениха и невесту провожали “на подклет”: “Благославляйте князя молодого / На подклет вести, / За хохол трясти, / Под шубкой спать, / Под куньей спать, / Прорубку прорубить, / Коня напоить...” (Песни, собранные П.В. Киреевским. № 775).

Давно отмечено разделение обрядовых культов на мужские и женские. Огонь, молния, дуб, петух, олень, конь несли в себе мужской символ; вода, земля, берёза, курица, рыба, корова – женский. Фольклористы также обратили внимание на обрядовые игры (“Стрела”, “Коструб” и проч.), объекты поклонения (Збручский идол) и на многое другое, что отразило языческий культ мужского фаллоса, который был более поздним дополнением к мифологической идее плодородия, первоначально отождествлявшейся лишь с материнским, женским началом. В приведённом тексте фаллической символикой наделён конь, которого должна “напоить” невеста. В связи с этим особую трактовку обретаёт ситуация, широко известная в народных любовных песнях. Парень и девушка изображаются у реки (родника, колодца и проч.). Он просит:

– Дівчино моя, та напій же коня.
З рубленої та криниченьки, з повного відра.

(Фольклорні записи Марка Вовчка та Опанаса Марковича. Київ, 1983. С. 195).

“Питьё” в значении половой близости почти всегда встречается и в волшебной сказке “Молодильные яблоки”. Её герой проникает в “девичье царство”, видит там спящую красавицу-богатыршу и, охваченный любовной страстью, “согрешает”. В результате она лишается невинности, что может быть изображено натуралистически. Например: «Струны эти все зазвенели, соловьи запели, кобели залаяли, царския дощери все выстали, прохватилась главная дочь Настасья. “Кровь пролита и рубашка в кровь замарана! Какой был хитрец, я ничево не слышала. Ставьте сёстры любезные, проедем в погону”» (Северные сказки. Сборник Н.Е. Ончукова. СПб., 1908. С. 414).

Обычно после пробуждения героиня сильно гневается и произносит метафорическую реплику, превратившуюся в традиционную формулу сказки: “Гость был, квас пил, а к в а с н и ц ы не закрыл” (Сказки Филиппа Павловича Господарева. Петрозаводск, 1941. С. 242).

Н.Н. Велецкая пришла к выводу, что слово *купала* “могло быть очень ёмким и соединять в себе несколько значений: костёр, котёл, водоём; ритуальное общественное собрание на ритуальном месте”. Это слово, считает исследовательница, синтезирует такие формы ритуала, как обрядовые прыжки через костёр и купание, общественные трапезы, сексуальная свобода. Возможно также, что в его основе когда-то могло быть имя собственное (Велецкая Н.Н. Языческая символика славянских архаических ритуалов. М., 1978. С. 102–103).

Народный свадебный обряд содержал тематику и отдельные элементы календарных обрядов весенне-летнего периода. При утрате “красоты” невеста вспоминала о реке, или же “красота” сама скрывалась “за тремя реками”. В свадебном причитании сообщалось, что невеста потеряет свою “красоту” *“на Иванов день”*. В песне девичника она велела подружкам отнести “красоту” «в чисто полюшко, ко белой берёзушке. / Краса красуется, берёза белуется» (Русский

фольклор в Латвии: Песни, обряды и детский фольклор. Рига, 1972. № 124).

В троицких песнях берёзка уподоблялась девушке (см. в нашей статье: Русская речь. 1995. № 4). А в свадебном фольклоре невеста сама уподоблялась берёзе – как “берёза белая”, “берёза кудрявая” вся во власти стихии (“туда поклоняюсь, куда ветер повеет”), так невеста целиком зависит от воли “бабушки с родимой матушкой” (Песни, собранные П.В. Киреевским. № 139(1)).

Удивительная песня была записана М.Е. Соколовым в Саратовской губернии. Её пели на Красную Горку, семик, Троицу и проводы русалки. Герой песни, “удаленький молодчик”, весьма фривольно обращался с “белой берёзой” да ещё сожалел, что она не “красная девка”.

“На берёзовы коренья / Он наступает, / За верпинушку берёзу / Он пригинает, / К животу белу берёзу / Он прижимает...” (Поэзия крестьянских праздников. № 606).

В сказке “Царевна-лягушка” чудесная невеста пошла танцевать: “Махнула правым рукавом – вода в комнату полилась, море, поплыли гуси и лебеди, стали прекрасной скирды по берягам. Махнула другим рукавом – полетели птички, запели пташки” (Сказки Куприянихи. Воронеж, 1937. № 25). Это был танец весеннего возрождения природы, её пробуждения к продлению жизни, а человека – к продлению своего рода.

Свадебный девичник и поэтически представленная в нём тема леса (сада), реки, группы девушек, расставания с “красотой” – видоизменённый архаичный обряд важнейшей женской инициации. Он завершался ночным купальским разгулом, который означал вхождение повзрослевших девушек в новое качество будущих матерей.

В поэзии девичника сохранялась память о “браке у воды”. Пташки, слетевшиеся к берёзе, представляли собой психологическую параллель подружкам вокруг невесты на девичнике. Расставаясь с “красотой”, невеста наказывала подружкам вспомнить о ней весной на Троицу.

В Пермской губернии свадебная баня невесты уподоблялась купанию “лебёдушек” в “медвяном ручье”, который течёт в далёком “чистом поле” из-под “белой берёзонки”:

То кака же бела берёзонька?
То стоит-ли да тепла парүша;
То какой же да медвяной ручей?
То наношена ключевá вода;
То каки-де белы лебёдушки?
То мои-де милы подруженьки...

(Песни, собранные П.В. Киреевским. № 97(4)).

Влияние свадебной бани проникло и в сказочный мотив “брак у воды”, где река могла заменяться баней.

С водой, а также купанием в бане, парением берёзовыми вениками связана народная любовная магия: «У нас бабка Саша. Она венички берёзки сорвёт и парит, приговаривая: “Как берёзка цветёт, кудрявится, так чтобы раба божья (имя) так же бы цвела и кудрявилась”; “От веничка листочек куда прилипнет, то место любить муж будет”» (Вятский фольклор. Заговорное искусство. Котельнич, 1994. № 209, 308).

В 1982 году в г. Решме Костромской области нами был зафиксирован такой обычай: на третий день после свадьбы молодых везут в баню на “поезде” (несколько саней-розвальней с людьми). “Поезд” весь обвешан берёзовыми вениками и бубенцами.

Картина “девичьего источника” (река, дерево, птицы, девушки) возникала как в народном орнаменте (полотенца, подзоры), так и во всех жанрах славянского фольклора, когда содержание произведений было обращено к любви и браку.

Вода из “девичьего источника” обладала целебной силой. В южнославянских балладах она превращает “старую юду” в “юную девицу”, а жену пастуха, уже родившую ему сына, вновь делает самодевой:

Плеснула она в ладоши,
И высоко взлетела,
И далеко улетела,
В дремучие лесные чащи,
Где живут самодивы,
Где девичий источник.
Там искупалась Марийка,
Девичество к ней вернулось,
И к матери воротилась.

(Песни южных славян. С. 55).

В весенне-летних обрядах русских, украинцев, белорусов, а также славян Чехии, Моравии и Польши А.С. Фаминцын видел ритуал “проводов смерти и встречи весны”. Вода, подчёркивал исследователь, играла роль воскрешения.

“Живая и мёртвая” (“исцеляющая и оживляющая”) вода волшебных сказок имеет очевидную связь с древнеславянскими весенне-летними обрядами. Сюжетное развитие этой темы представлено в уже упоминавшейся сказке “Молодильные яблоки”: “Как-то приснился царю сон, будто за тридевять земель, в тридесятом государстве, есть красная девица, у которой с рук и ног вода течёт: кто этой воды изопьёт, тот на тридцать лет моложе станет” (Народные русские сказки А.Н. Афанасьева. № 173).

Повсеместная вера восточных славян в целебную силу “святых” родников, ручьёв, рек, колодцев, озёр, а также “небесной влаги” (дождевой воды и росы) сохраняется до сих пор. В заговорах традиционно обращение к “царице-водице, красной девйце, морской кринице, Божьей помощнице и угоднице Ульянице”.

Основу и особенности болгарских русалий составляли ритуальные действия с водой, направленные на исцеление и врачевание. Целительницами были русалки (вилы, самодивы). На русальной неделе больные специально ходили к “самодивским источникам” (фактически древние “девичьи источники”), где проводили ночь. У восточных славян обычай врачевать водой открепился от календаря, слился с христианскими представлениями о “святых” водоёмах. Общее сохранилось в обряде вызывания дождя, который совершали исключительно девушки и женщины.



ПО ДОЛГУ МИЛОСЕРДИЯ

А. Н. ШУСТОВ

Милосердие на Руси всегда считалось одной из самых высоких добродетелей. Особый смысл оно приобрело после введения христианства. Поддержка слабых и неимущих стала осуществляться во имя (ради) Бога (Христа). “Обычная щедрость становилась милосердием. Это различные акты, ибо акт добродетели переносился с человека дающего на тех, кому давался, а это и было христианским милосердием” (Лихачев Д.С. Крещение Руси и государство Русь // Новый мир. 1988. № 6).

В наши дни слово *милосердие* не всегда понимается правильно. Можно прочесть, например, такое его “уточненное” толкование: “Прекрасная, милосердная (от милого сердца) статья Татьяны Драгныш” (Лит. газета. 1993. 29 дек.). Это неверно, поскольку *милый* в значении “приятный, привлекательный, добрый” и т.п. здесь не при чем. Исходным является старославянское *милосеръдие* и прилагательное *милосръдъ*, восходящие к существительному *милость* – “добродетель, состоящая в спомоществовании ближним” (Словарь Академии Российской. 1793. Ч. 4), т.е. “благодетяние, сострадание, человеколюбие” (ср. греч. *филантропия*). Отсюда: *помилование, милостивый* государь, талант *милостью* Божьей, *милости* просим, *милостыня* (первоначально “благотворительность”, а не “подавание”).

Таким образом, *милосердие* – это готовность помочь кому-либо из сострадания, человеколюбия; сердечная жалость, сочувствие. Все эти понятия относятся к разряду христианской этической лексики: “Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благодать, милосердие, вера” (Послание к Галатам. 5, 22); “будьте друг ко другу добры, сострадательны [милосердны]” (Послание к Ефессянам. 4, 32). Общеславянское слово *милосердие* идентично позднелатинскому *misericordia* (*misere* – жалеть, сострадать и *cordi* сердце). У существительного *милосердие* когда-то были соответствующие синонимы: *добросердие*, *благосердие*, *мягкосердие*, *сердоболие*... Интересен в этом отношении окказионализм русской поэтессы, православной монахини в миру, матери Марии – *милоститворение*.

Одним из распространенных словосочетаний в русском языке долгое время было – *сестра милосердия*. История его интересна и во многом поучительна.

Возникновение “больниц” на Руси относится еще к концу XI века. Впоследствии в России стали появляться различные приюты, богадельни и т.п. Но вплоть до конца XVIII века попечение о больных осуществлялось в основном монахами тех монастырей, куда входили эти приюты (Родина. 1993. № 12). Лишь во время войн допускалось выхаживание раненых воинов их женами, матерями или вдовами погибших.

В средневековой Европе уход за больными и ранеными нередко производился специально подобранными и обученными женщинами. Франция была одной из первых стран, где больных помещали на лечение либо в монастыри, либо в “гостиницы” при монастырях (*госпитали*, *лазареты* – зачастую обобщенно называвшиеся *charité* – “богадельня”). В этих случаях ухаживали за больными монахини, среди которых было принято обращение *soeur* – сестра. Запомним эти два французских слова...

В России первые попытки привлечения женщин к уходу за больными в госпиталях были предприняты Петром I. Это были монахини – *старицы*. Со смертью Петра его начинание прервалось, но идея не умерла, т.к. с развитием здравоохранения как системы возрастала и необходимость в “среднем медицинском персонале”. Начало женского “сестричества” в России относится к самому началу XIX века.

Доктор московского почтамта И.И. Пфелер придавал очень большое значение “признанию” за больными, считая, что “чужие люди гораздо способнее к смотрению за больными, нежели родственники”, в силу большей объективности. В 1792 году он издал книжку “Наставление для людей за больными хождение имеющих...”, в которой писал: “известный и искусный смотритель за больными столь же нужен и полезен для народного размножения, сколько ученая повивальная бабка”. Доктор говорит о *смотрителях* (пока еще по традиции – о мужчинах, которые должны быть человеколюбивыми, сострадательными, услужливыми без “наглости”, не докучливыми и т.д.). Однако, само название книги уже способствовало появлению (или расширению) иного названия.

В русском языке издавна одним из значений глагола *ходить* было – “заботиться о ком-нибудь, ухаживать за кем-нибудь”. Отсюда возник специальный термин – *хожатый, хожатая*. Вдовствующая императрица Мария Федоровна уже в 1803 году высказала мысль, что “всегда женщина к обхождению с больными попечительнее и нежнее” и предложила (в 1808) ввести в больницах прислугу “под именем хожатых” (Советское здравоохранение. 1989. № 7). В языке это название продержалось достаточно долго – оно зафиксировано в Словаре В.И. Даля. Да и сегодня нет-нет и “вынырнет” из глубины: “Если утром трещит голова, / Так хожалка накапает зелья...” (Ю. Фадеев).

Одним из первых на практике стал привлекать женщин в медицину знаменитый доктор Ф.П. Гааз (о нем см. Русская речь. 1984. № 5): “в Павловской больнице в Москве вместо состоявших для ухода за больными инвалидных солдат и жен их поставлено определить по найму исключительно женскую прислугу – сидельниц” (Советское здравоохранение. 1989. № 7). Так в русском языке пушкинских времен появляются новые понятия: *хожатый (-ая), сидельница (сиделка)* и еще – *сердобольная вдова*.

Идея создания института сердобольных вдов, преследующая целоеколюбовые цели, возникла в 1804 году у императрицы Марии Федоровны. Предполагалось, что женщины будут приходить из своих вдовьих домов или богаделен в больницы и ухаживать за хворыми: “больные могли бы препоручены быть надзору благотворительных вдов, (...) поелику, без сомнения, женский присмотр особливо известных, надежных и благонравных женщин есть для больных наилучший”. Такой институт был создан, и вдовы приступили к службе в Петербурге в 1814 году, а в Москве – в 1818. У них был особый знак: золотой крест с надписью “Сердоболие” на зеленой ленте, который носился на шее. При вступлении в “должность” женщины давали специальную клятву: “...доколе сил моих достанет, употреблять буду все мои попечения и труды на богоугодное служение братьям моим – человекам и христианам (...), буду тщательно наблюдать все, что по наставлению врачей признано будет полезным и нужным (...) по долгу христианского милосердия” (Лампеко С. Московский вдовый дом. М., 1903). Кратко этот “медперсонал” назывался – *сердобольные* (В.И. Даль фиксирует и разговорную форму *сердоболка*).

Организатором службы сердобольных вдов в Москве был доктор Х.Ф. Оппель, издавший в 1822 году специальное “Руководство и правила как ходить за больными (...), а наипаче для сердобольных вдов, званию сему особенно себя посвятивших”. В этой книге он, в частности, писал, что “честный и знающий хожатый столько же нужен и полезен для государства, как и искусная повивальная бабка” (вспомним слова доктора Пфелера); “утвердите за собой достойно и праведно (...) дарованное вам название сердобольных, т.е. сердечно болезнующих, словом – друзей страждущего человечества!” (там же).

Вместе с тем в тот же период в русском языке уже было известно и словосочетание *сестра милосердия*, его автором был Д.И. Фонвизин. Путешествуя по Франции, он писал П.И. Панину из Лиона в конце 1777

года: “Меня впустили смотреть их (больных. – А.Ш.) в тот час, когда *les soeurs* (сестры милосердия, больным женщинам служащие) обносили им кушанье” (Сочинения. СПб., 1893). В “параллельном” письме к родным Фонвизин передал смысл французского термина проще: “старухи служащие” (там же). В XVIII веке это не воспринималось как вульгаризм. Вспомним, что и М.В. Ломоносов предлагал организовать в России нечто наподобие детских домов, где за детьми “ходили” бы *богадельные старушки*. Кстати, на Руси акушеров (повитух), народных лекариц и знахарок долгое время именовали *бабками* – в основном это действительно были женщины пожилого возраста.

Несколько позже Фонвизина Н.М. Карамзин в “Письмах русского путешественника” (1790) передавал свои впечатления от посещения того же госпиталя: “Присмотр за больными также достоин хвалы всякого друга человечества (...). Милосердие! Сострадание! Святые добродетели! Так называемые *жалостливые сестры* служат в сем доме плача, и чувство доброго дела есть их награда”. К выделенному словосочетанию Карамзин дал пояснение: “Женский монашеский орден”. Однако неологизм чем-то не удовлетворил автора и спустя несколько месяцев в письме из Парижа он писал уже иначе: герцогиня Лавальер “жила 36 лет единственно для добродетели, для неба, под именем Луизы, *сестры милосердия* (курсив Карамзина. – А.Ш.), ревностно исполняя строгие должности ордена и звания своего”. *Жалостливый и милосердный* в русском языке – близки по значению (Абрамов Н. Словарь русских синонимов. СПб., 1900), между ними нет принципиальной смысловой разницы. У В.И. Даля *милосердие* – то же, что *жалостливость*.

Предлагая в своих произведениях словосочетание *сестра милосердия* были ли, однако, Фонвизин и Карамзин его изобретателями?.. Они же дали и “ключ” к ответу на этот вопрос в виде французского слова *soeur* (сестра, монахиня, сиделка). Откуда же появилось второе словоопределение?...

Еще в начале XVI века во Франции была создана религиозная община *Filles de la charité* (монахинь-благотворительниц), в задачу которой входило оказание конкретной помощи беднякам и больным. Сто лет спустя священник Винсент де Поль основал специальный орден сестер, ухаживающих за немощными. Он назвал их *soeurs de charité* – *сестры-благотворительницы*. К 1629 году таких общин было уже много в разных французских городах, включая Париж. Сам де Поль за свою огромную благотворительную работу был причислен к лику святых, а последователи его начинания именовались не только *soeurs de charité*, но также и *soeurs grises* – *серые сестры* (видимо, по цвету одежды).

Во французском языке слово *charité* означает именно “благотворительность, благодеяние”. В фонвизинское время его переводили как “добродетель, христианскую любовь, которая к сожалению о ближнем и делам милосердия преклоняет” (Волчков С. Французский лексикон... СПб., 1785. Ч. I). Вспомним в этой связи одно из стихотворений П.Ж. Беранже “*Les deux soeurs de charité*” – “Две благотворительницы” (русские поэты переводили: “сестры милосердия”), обыгрывающее

“социальную пользу” больничной сиделки и потаскушки. Евангельское же слово *милосердие* имеет у французов латинизированную форму *misericorde*, а также *compassion* (сердоболие), *compatissance* (жалостливость) и др. В подробных французских словарях, изданных в России в 1770–80-х годах, словосочетание *soeurs de charité* не приводится. Таким образом, можно сделать вполне определенный вывод: неологизм Фонвизина (и Карамзина) – это лексическая калька с французского.

Словосочетание *сестра милосердия* редко, но все же использовалось русскими авторами начала XIX века: “Приходит бедная монахиня, одна из сестер милосердия, просит, чтоб ей заказали какую-нибудь работу” (Глинка Ф.Н. Письма русского офицера. 1813); “Монастырь сестер милосердия (в Польше. – А. III.). При нем заведение. Около 115 кроватей для больных обоего пола” (Вяземский П.А. Записная книжка. 1818). Однако для широкого вхождения его в языковой оборот потребовались особые социальные условия.

Первая Свято-Троицкая Община сестер милосердия открылась в Петербурге в 1814 году по инициативе великой княжны Александры Николаевны. Вот когда было “востребовано” к жизни словосочетание, предложенное Фонвизиним! После смерти основательницы императрица-мать приняла под свое покровительство Дом Милосердия для призрения сирот и немощных женщин всех сословий и возрастов. В 1848 году был утвержден устав Общины. Прежде чем стать *сестрой*, надо было пройти годичное испытание. Существовала Община на пожертвования (т.е. ее саму содержало милосердие!), консультировали такие врачи, как Н.Ф. Аренд и Н.И. Пирогов. К 1849 году в Общине насчитывалось 22 сестры, чьи труды “при добром, истинно христианском их поведении, более и более сдружили их с публикою” (Отчет Общины сестер милосердия за 1849 год. СПб., 1850).

Одной из старейших была и одесская Община *сердобольных сестер*. Свое название они унаследовали от *сердобольных вдов*. История Общины восходит к 1846 году, когда был составлен проект богадельни (“рассаdnика милосердия”). В 1849 году был заложен первый камень будущего “дома сердобольных сестер”, а через полтора года здание уже было освящено. Отличительными качествами сердобольной сестры являлись – “снисходительная кротость, а иногда и твердость характера в общении (с болящими), наконец всегдашняя готовность к исполнению их безвредных желаний” (Медицинская сестра. 1989. № 11).

А вскоре русские сестры милосердия получили свое первое, подлинно босвое, крещение в Крыму. Великая княгиня Елена Павловна в 1854 году собрала сердобольных христианок в Крестовоздвиженскую Общину. Для желающих вступить в Общину был установлен испытательный срок, им необходимо было представить рекомендации о трудолюбии и примерном поведении. Зачисление в Общину осуществлялось на конкурсной основе. Авторитет тружениц был так велик, что любой губернатор считал для себя за честь принять сестру милосердия.

Начинание Елены Павловны получило полное одобрение и поддержку Н.И. Пирогова. Они совместно решили подготовить отряд сестер для попечения о раненых в Крымской войне.

Первая группа женщин-добровольцев Крестовоздвиженской Общины получила название *христоролюбивых сестер* (Русский инвалид. 1855. 30 янв.): "...христоролюбивые сестры приступили к отправлению своих священных обязанностей" (Северная пчела. 1855. 25 янв.). Поэтесса Е. Ростопчина восхищалась их благородным душевным порывом: "Как, женщины, вы нежны, сердобольны, / Но храбрым мужеством героям вы равны..."

Первая партия сестер выехала из Петербурга в ноябре 1854 года и тогда же прибыла в Симферополь для дальнейшего следования к местам боев: "из С.-Петербурга едут [еще] 30 сестер милосердия в Севастополь для хождения за ранеными" (Русский инвалид. 1855. 18 июня).

Вслед за сестрами из Крестовоздвиженской Общины в Крым отправились и сердобольные вдовы. В том же 1855 году в Москве их было отобрано 26 человек, в том числе – одна доброволка в возрасте 76 (!) лет. Лекарь Ф.С. Оранский, тесно сотрудничавший с сестрами и вдовами, свидетельствовал: "...кто не знает, что русские сердечные женщины – лучшие врачевательницы язв души, что они оказывают особенное влияние на упавший дух, истерзанное сердце, измученную совесть {...} умеют исцелять его мягким, нежным взглядом и симпатически соболезняющим словом" (Медицинская сестра. 1990. № 9). Сами члены Общины считали, что "мрачность несовместима с милосердием" и старались держаться бодро, порой едва перенося те ужасные условия, в которых они оказались. Сохранились многочисленные свидетельства и тех, кому помогли сестры в трудную минуту.

В неофициальной разговорной речи определение "милосердия" опускалось, и женщин ласково, по-родственному, звали просто: *сестра, сестрица*. Это отметил и участник обороны Севастополя, многократно посещавший полевые лазареты, артиллерийский офицер Л.Н. Толстой (см. "Севастополь в мае". гл. 8 и "Севастополь в августе 1855". гл. 11). Старое доброе название *сестра, сестрица, сестричка* живет в языке и в наши дни.

Для награды сестер милосердия и сердобольных вдов, находившихся во время боевых действий в Крыму, были выпущены специальные медали ("кресты сердобольия") за усердие и их неутомимый труд, которые были "возложены" на них в симферопольском Александро-Невском соборе 22 апреля 1856 года.

Двадцать лет спустя сестры милосердия вновь проявили себя в русско-турецкой войне 1877/78 годов. Многие из них погибли от ран и болезней. Вспомним хотя бы судьбу Ю.П. Вревской, памяти которой И.С. Тургенев посвятил стихотворение в прозе. О женщинах в войне 1877 года Вл. Солоухин пишет (цитируя В. Левченко), что это были "милосердные сестры – так их тогда называли" (Наш современник. 1990. № 6). Такой "инверсионный синоним" на русском нам нигде больше не встретился. Это явный вариант болгарского и сербского языков.

Кстати, тогда же появилось и русское словосочетание *брат милосердия*. Его также можно предположительно считать калькой с французского (*frères de la charité*, XVI в.), но скорее всего это – исконно русское выражение, возникшее “в параллель” к *сестре*. Так полушутя называл себя Александр II, посещая в 1877 году в Болгарии госпитали с ранеными воинами (Октябрь. 1994. № 6). Официально институт *братьев милосердия* был учрежден в Петербурге в 1897 году. *Братья* проходили солидную медицинскую подготовку и в отличие от *сестер* им предназначалось действовать на передовых линиях, в окопах. В годы первой мировой войны в России были организованы фронтовые санитарные поезда, в которых служили братья милосердия. Такими братьями некоторое время были А. Вертинский, С. Есенин, К. Паустовский...

После убийства в 1905 году эсером И.П. Каляевым московского генерал-губернатора С.А. Романова его вдова великая княгиня Елизавета Федоровна основала в Москве Марфо-Мариинскую *обитель милосердия*. Сестер этой обители сама она ласково называла ангелами-хранителями. В 1926 году община была закрыта большевиками, духовенство и сестры высланы из Москвы.

В 1917 году с *милосердием, добросердием, сердоболием...* в России было покончено.

В азарте борьбы с религией большевики вместе с нравственными идеалами христианства отвергли и его лексику: даже «совсем недавно, в застойном недалеке, слово “милосердие” из статей вычеркивали. Оно считалось то ли буржуазным, то ли религиозным предрассудком. Оно, понимаете ли, унижало человека. Оно, видите ли, мешало ему звучать гордо» (Советская культура. 1988. 12 ноября).

После революции *сестры милосердия* были срочно переименованы в *красных сестер* (продержались в языке недолго), а затем и в безликих *медицинских сестер*. Еще и сегодня словосочетание *сестра милосердия* считается историческим, относящимся к дореволюционному периоду (Фразеологический словарь русского литературного языка. Новосибирск, 1991. Т. 2). В статье, опубликованной газетой бывших военнопленных-интернационалистов (афганцев), хорошо сказано: «Мы до недавних времен не любили говорить о милосердии, боясь самого слова, как боялись своей совести и стали употреблять в сущности бессмысленное словосочетание – медицинская сестра (...). И выхолащивалось содержание из слова “сестра”» (Побратим. 1990. № 7).

Люди старшего поколения до сих пор спотыкаются на этих названиях: “Сама я – медсестра, или, как раньше называли, “сестра милосердия”. (...) Всё заслонила собой фигура Надежды Петровны М., медицинской сестры по профессии, сестры милосердия по самой сущности своей натуры» (Человек и закон. 1984. № 8).

Сегодня *медицинская сестра* (и ее усеченная форма *медсестра*) уже начинает уступать законное место старому словосочетанию, которое медленно возрождается вместе с утраченными понятиями о добре:

«Свято-Дмитриевское сестричество первое в России возродило институт “сестер милосердия”, пытаясь соединить порванную нить прежних традиций “сестринства”» (Российская газета. 1993. 30 апреля). Оживает и Марфо-Мариинская Община. Отрадно видеть и сознавать, что *милосердие* возвращается в нашу жизнь.

Санкт-Петербург



“ВОЗЬМЕМ СВОИ ТОЛСТИННЫЕ ПАРУСА...”

З. А. НОСКОВА,

кандидат филологических наук

В “Повести временных лет” под 907 годом описывается взятие Олегом Царьграда. После победы над греками приведены слова Олега: «”Сшейте для руси паруса из наволоок, а славянам копринные!” И было так! И повесил щит свой на воротах в знак победы, и пошли от Царьграда. И подняла русь паруса из наволоок, а славяне копринные, но разодрал их ветер. И сказали славяне: “Возьмем свои толстинные паруса, не дали славянам паруса из паволок”».

Каким же парусам отдали предпочтение славяне? *Кропинные* (предположительно полотняные, т.е. из крапивы или шелковые, из коприны) разодрал ветер, а паруса из паволок, дорогих шелковых тканей, не дали славянам, и они решили взять свои толстины. Что же это? Слово *тълстина* в “Материалах для словаря древнерусского языка” И.И. Срезневского в приведенном ранее контексте трактуется как “толстая, грубая ткань” (т. III). Там же приведено и еще одно значение “толстота, объем” с примером из другого памятника письменности: “плътъ естъ на трое растошися, рекъше, я же имать длъгость и ширость и глубость, реже естъ тълстина”.

Древнерусскому языку известно также прилагательное *тълстинный*: “о(тъ)ци авва памво вѣтъхи ризы ношаху сшивены много и толъстинны. ныне же многоцѣнны носите (Пандекты Никона. Картотека словаря древнерусского языка). Противопоставление дорогих (“много-

ценных”) и “толъстиньных” риз позволяет в какой-то мере оправдать мнение Срезневского о том, что слово *толстина* могло служить для обозначения определенной грубой ткани. Но эта точка зрения не подкрепляется данными XV–XVII веков, а также более поздними и современными словарными материалами.

“Материалы для терминологического словаря древней России” Г.Е. Кочина определяют толстину как грубую ткань и ссылаются на уже приведенный летописный контекст (М.–Л., 1937).

Ни первое издание Словаря В.И. Даля, ни “Словарь церковнославянского и русского языка” (СПб., 1847), который Даль брал за основу, данное наименование не включают. Слово появляется во втором издании Словаря Даля с пометой “стар.” (старинное) и иллюстрируется все тем же, единственным примером из “Повести временных лет”. Не ясно, что послужило поводом для включения данного наименования во второе издание. Возможно, однокоренные, близкие по семантике диалектные *толстик(х)а* – толстая пряжа на рядна (1-е изд. СПб., 1866. Т. IV)? Или известность, легендарность сюжета, где упоминается слово?

В “Словаре современного русского литературного языка” *толстина* определяется как архаизм и трактуется как простой грубый холст; изделие из простого грубого холста (М.–Л., 1963. Т. 15. Далее – ССРЛЯ). Но иллюстрация из исторической прозы – это те же летописные реминисценции: “Как подняли эти парусы, случилась беда: у славян кропинные [полотняные] разорвал ветер, и сказали славяне: Останемся при своих толстинах, не пригодны славянам парусы кропинные” (Забелин И.Е. История русской жизни с древнейших времен. М., 1879. Ч. II).

Интересен другой пример использования слова *толстина* в современной литературе: “И вот [монах] открыл правый свой, потом левый глаз и пошарил Иринью невидящим взглядом и всем животом под намокшей толстиной вздохнул...” (Леонов Л. Гибель Егорушки // Собр. соч.: в 5 т. Харьков, [1929], Т. 1). Этот единственный случай употребления слова *толстина* в контексте, не связанном с летописным сказанием, вызвал некоторое недоверие. И, действительно, при переиздании рассказа в 1969 году, то есть уже после выхода ССРЛЯ, оказалось, что вместо *толстина* употреблено слово *холстина*, что более естественно и понятно, так как речь идет об одежде монаха. Кроме того, в рассказе упоминается также *холстинная юбка* и *черная крашеная холстина*. В первоначальной редакции предпочтение было отдано более архаичному слову, но, к сожалению, не связанному с реальной жизнью. Слово *толстина* попало в словарь по раннему изданию до исправления текста автором и поэтом, очевидно, не может быть сейчас иллюстрацией использования его как средства стилизации.

Скорее всего это слово употреблено в “Повести временных лет” в значении “толщина”, известном древнерусскому языку, то есть не является названием особой ткани. Это предположение поддерживает перевод Д.С. Лихачева, где на месте *толстинам* употреблено прилагательное *простые*, то есть “грубые, толстые”. «И сказали славяне:

“Возьмем свои простые паруса, не дались славянам паруса из паволок”» (Повесть временных лет. М.–Л., 1950). К тому же прилагательное *тълстыи* имеет значение “грубый, жесткий” применительно именно к одежде и тканям: “Мантиями тълстыми пъртянами, аще хотять, да одеваются” (Срезневский. Указ. соч.).

Но отнесение слова *толстина* к разряду тканей тоже имело основания: оно образовано с помощью продуктивного суффикса *-ин(а)*, который имели в своем составе и другие ранние древнерусские текстильные термины: *частина*, *уновина*, *пъстрина*. У них был общий принцип номинации – по характерному признаку изделия. Хотя суффикс *-ин(а)* многозначен, это не мешает предположению о том, что слово *толстина* могло обозначать ткань.

Слово *частина* встретилось лишь в Торговом договоре Смоленска с Ригою и Готским берегом: “Како тако боудете. како придоуть. латинский гость: оу город. с волока. дати имь княгини постав частины” (Смоленская грамота 1229 г.). В других списках – “цастины”, “частини”.

Наиболее вероятно, что термин определял фактуру ткани. Исходя из того, что существовала *толстина*, известный специалист по древнерусской литературе В.Ф. Ржига считал, что “более тонкое полотно известно под названием частины” (Ржига В.Ф. О тканях домонгольской Руси // *Byzantinoslavica*. Prague, 1932. Т. IV. № 2). С другой стороны, существует мнение польского археолога А. Нахлика, который занимался археологическим анализом текстильного материала. Он связывал частину с тканями специального типа, которые отличались от других текстильных находок Новгорода Великого густотой основы (до 60 нитей на 1 см). Это были невоощенные шерстяные ткани английского производства, которые импортировались на Русь до середины XIII века (Нахлик А. Ткани Новгорода // *Материалы и исследования по археологии СССР*. М., 1963. Вып. 123). Таким образом, по мнению А. Нахлика, к которому присоединяется и польский историк Древней Руси А. Поппэ, *частиной* могли называть каждую густую ткань, независимо от происхождения сырья (Poppe A. *Materiały do dziejów tkaniny staroruskiej*. Wrocław–Warszawa–Kraków, 1965).

Составитель сборника “Памятники русского права” А.А. Зимин в комментарии к смоленской грамоте 1229 года определяет *чащину* тоже как плотно вытканый холст (М., 1953. Вып. 2).

Для XIV–XVII веков нами не найдено примера, подтверждающего употребительность термина *чащина*. Слово *чащуха* (*чащуйка*) известно по лексикографическим материалам XIX века, оно обозначало частую плотную ткань (Даль. Т. IV). Современные нормативные и диалектные словари его не фиксируют. Утрата наименования ткани связана с неконкретностью, расплывчатостью обозначаемого предмета, так как указанный в названии характерный признак со временем перестал давать исчерпывающее представление о предмете: частой могла быть любая ткань.

С помощью суффикса *-ин(а)* образовано и древнерусское наименование *уновина*, употребленное в новгородской грамоте на бересте: “Се

доконьцаху мыслове дете Труфале з братьею давати оуспов б коробей ржи да коробья пшеници, 3 солоду, дару 3 куници да пуд меду, детям по белки 3 і 3 горсти лену, боран, оуновину” (Берестяная грамота XIV в.).

По мнению А.В. Арциховского, слово является спорным: «Оно может быть вариантом слова “новина” (холстина), известного по русским этнографическим данным. Но в письменных источниках слово *новина* в смысле “холстина” известно с XVII века» – по более поздним данным – с XVI века (Вопросы истории. 1955. № 2).

В древнерусском языке слово *новина* употреблялось в нескольких значениях: 1) что-либо новое, ранее неизвестное; 2) земля для посева, которая распахивается впервые; 3) суровый небелёный холст; 4) новые платежи; 5) новость, недавно полученное известие (Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1986. Вып. 11. Далее – СлРЯ). Думается, наиболее вероятным значением для слова, употребленного в грамоте, является значение “холст”, так как речь идет об “успах” – натуральном обороте. А то, что слово стало активно употребляться в письменности с XVI века, объясняется и жанровым своеобразием древнерусской литературы, где, как правило, не было места бытовым деталям, и особенностями развития русского литературного языка. Слово, рожденное в устной народной речи, не сразу и не всегда фиксировалось в памятниках письменности.

В XVI–XVII веках языковая ситуация меняется, письменный язык все более сближается с народно-разговорным, и слово *новина* находит свое отражение в письменности: “... и кафтанов суконных однорядошных и сермяжных, и новин, и рубашок муцких и женских” (СлРЯ XI–XVII вв. Вып. 11); “Новины тонкой 10 аршин” (там же).

Употребление слова в русской поэзии XIX века также свидетельствует о широкой известности названия:

Жены мужние – молодушки
К коробейникам идут,
Красны девушки-лебедушки
Новины свои несут.

Некрасов. Коробейники.

Такую же разветвленную семантическую структуру, которая была характерна для слова *новина* в XVII веке, оно сохранило и в современном русском языке. Изменился лишь характер употребления: все значения этого слова, характерные для языка XI–XVII веков, считаются устаревшими, а значение “новшество” – просторечным (Словарь русского языка: в 4 т. М., 1982. Т. II. Далее – СРЯ). Таким образом, слово *новина* сохранилось в русском литературном языке как архаизм.

К группе древнерусских наименований с суффиксом *-ин(а)* примыкает и слово *пъстрина*. Скорее всего, название связано не просто с цветом, а с технологией изготовления, при которой использовались цветные нити: материя ткалась из нитей не менее двух цветов разными способами переплетения. Слово явно славянское, хотя такая форма в изу-

ченных нами ранних источниках XI–XIV веков не встретилась. Карто-тека Словаря древнерусского языка дает лишь один случай употребления: “Одежу носи долгоу до глезна, не от пьстрин, ни от оутварии мирьских”.

Если принять во внимание судьбу и значение однотипных наименований *тьлстина*, *частина*, *уновина*, которые не обозначали конкретной ткани, характеризующейся только ей присущими признаками, то вряд ли можно согласиться с известным специалистом по истории материальной культуры А.Л. Хорошкевич, что слово *пьстрина* обозначает определенную холщовую ткань (Торговля иностранными тканями в Новгороде в XIV–XV вв. // Исторические записки. 1958. № 3). Скорее всего прав А. Поппэ, который считает, что слово *пьстрина* служило для обозначения любой пестрой ткани, изготовленной из разноцветных нитей или вышитой (Указ. соч.). Подтверждением этому служит также довольно частое употребление прилагательного *пьстрыи* по отношению к названию одежды: “светлыя и пьстрыя и златыя ризы” (Изборник 1076 года); “се мужь оден в пьстро...” (Ипатьевская летопись. Запись под 1111 годом); “а порти его пьстри” (Житие Александра Невского).

В XV веке появляется синонимичное *пестрине* слово *пестредь*, впервые зафиксированное в “Хождении за три моря” Афанасия Никитина: “А Камбает же пристанище Индейскому морю всему, а товар в нем все делают алачи, да пестреди, да каньдаки...” (1466–1472). Слова *пестрядь*, *пестрядина* были в активном употреблении вплоть до конца XIX века (ССРЛЯ. Т. 9), и сейчас они не считаются устаревшими (СРЯ в 4 т. Т. III).

Письменные свидетельства помогают установить, что наименование *пестредь* (*пестрядь*, *пестрядина*) так же, как и *пьстрина*, не обозначало конкретного типа ткани, и лишь определяло ткань, изготовленную из разноцветных нитей: “пестредь *полушелковая* штанная цына 2 руб.” (1649); “пестредь *крапивная* мерою 7 ар.” (1649 г.); “косяк пестреди *холщевой* мерою 18 ар.”; “аршин пестреди *пеньковой*” (1649); “2 косяка *шолковых* персицких пестредей” (1672 г.); “читают евангелие оболочен пестредю заморскою *шерстяною* цветною” (1696 г.); “опашень... подпушен пестредью *тафтяною*” (1589 г.); “пестрядь *бумажная* красная” (1693–1694 гг.) – курсив в примерах мой. – З.Н.

В XVIII–XIX веках произошла, очевидно, постепенная специализация значения: слово стало обозначать ткань определенного качества: “а из той вывозной бумаги делаютя здесь разных манеров пестряди, платки, кушаки, фаты...” (1767 г.); “пестреди *сінеи* 1000 аршин” (1724 г.).

Существуют разные мнения о том, какая это была ткань. Известный историк М.В. Фехнер считает, что “пестрядь представляла собой бумажную ткань из разноцветных нитей” (Торговля русского государства со странами Востока в XVI в. М., 1956), а В.И. Даль и

М. Фасмер (Этимологический словарь русского языка. Т. III) относят пестрядь к грубым тканям из пеньки. В. Бурнашев определяет пестрядь как льняную или пеньковую ткань с цветной основой и белым утком – поперечными нитями (Опыт терминологического словаря сельского хозяйства, фабрикиности, промыслов и быта народного: в 2 т. СПб., 1843–1844. Т. II).

Возможно также и то, что это была ткань определенных узоров и расцветок. Так, в Словаре В.И. Даля слово *пестре(я)дь* толкуется с помощью синонимичных *пестредина* и появившихся в XVIII веке *затрапез*, *затрапезник* (от купца Затрапезникова, коему Петр I передал пестрядинную фабрику), а также *полосушка*, которое свидетельствует об определенном узоре ткани – “пестрой или полосатой, более синеполосой” (Т. III). О том, что ткань была популярной, говорят народные названия расцветок пестряди: *белоглазка*, *погоняйка*, *скворцовая*, *путанка* и др. (там же). О типичности ткани в крестьянской среде свидетельствует интересный образ *пестрядинного ангела* (то есть своего, близкого, родного) в поэзии Н. Клюева.

Оледенелыми губами
Над россомашьими тропами
Я бормотал: «Святая Русь,
Тебе и каторжный молюсь!..
Ау, мой ангел пестрядинный,
Явился хоть на миг единый!»

Погорельщина

Древнерусская форма *пъстрина* значение ткани не сохранила; в современном русском языке это слово имеет значение “пестроты, пятно, крапина” (ССРЛЯ. Т. 9). Для обозначения пестрых тканей используется термин *пестротканые* (ГОСТ 11039–84).

Итак, истории всех четырех древнерусских названий тканей с суффиксом *-ин(а)* не просты и даже загадочны: были ли на самом деле такие ткани? Может, способ номинации оказался неудачным? Ведь в основе названия лежал признак предмета, хотя и определяющий, но не существенный, не выдающий исчерпывающей информации о функциональных признаках изделия: сырье, способе изготовления, предназначении. Эти слова или были утрачены языком (*толстина*), оставаясь иногда в диалектах (*частина*, *частуха*), или сохранились отчасти благодаря тому, что слово функционировало в нескольких значениях (*новина*), или со временем сузили, специализировали свое значение (*пестрина* – совр. “пестрота”), уступив место аналогичному наименованию, образованному с помощью другой морфемы (*пестре(я)дь*, *пестрядина*).

Суффикс же *-ин(а)* не перестал участвовать в названии тканей, лишь изменил свою семантику. Если в словах *толстина*, *частина*, *новина*, *пестрина* с помощью этого суффикса данные существительные со значением “ткань, вид ткани” образовались от соответствующих прилага-

тельных *толст(ый)*, *част(ый)*, *нов(ый)*, *пестр(ый)*, то более поздние наименования тканей чаще всего образуются с помощью суффикса *-ин(а)* от существительных в аналогичном значении (*пестрядина* – от *пестрядь* и т.п.): *рогожина*, *дерюжина*, *сермяжина*, *тканина*, *самотканина*, *домотканина*, *ряднина*, *посконина*, *холстина*, *шерстина*, *армячина*. В большинстве случаев данные слова являются словообразовательными и стилистическими вариантами существующих названий тканей.

Украина, Луганск

Утка “обман, ложный слух”

М.М. МАКОВСКИЙ.

доктор филологических наук

Слово *утка* в русском языке используется не только для обозначения водоплавающей птицы, но и в значении “обман, ложный слух”. Но какое отношение имеет утка к обману, можно ли считать второе значение указанного слова метафорой от первого или перед нами совершенно разные слова? Для того чтобы ответить на этот вопрос, нам придется обратиться к некоторым особенностям языческого мышления и языческим символам, которые нашли широкое отражение в языке.

Согласно языческим представлениям, птица (в том числе и утка) считалась вместилищем души умерших.

Душа же в свою очередь приравнивалась к Огню – одному из первоэлементов Вселенной. Однако огонь, как и вода (другой первоэлемент Вселенной) мыслился не только как спасительное, очищающее начало, но и как начало губительное, всеуничтожающее, несущее смерть (одной из особенностей древнего мышления была бинарность: действия и предметы представлялись в виде пар противоположных понятий, например, *свет-тьма, верх-низ, жизнь-смерть, правый-левый, спасти-погубить* и т.д.). В связи с этим важно сопоставить индоевропейские соответствия русского слова *утка*: **and-* “утка”; **and-* “дыхание, дух”, но также **a(n)d-* “огонь” и **a(n)d-*, **o(n)d-* “ненавидеть; ненависть”.

Важно иметь в виду, что в древнем сознании понятие обмана никак не связывалось с дачей ложной информации, как в современных языках, а соотносилось с нанесением морального и физического ущерба, в частности, посредством огня. Огонь мог не только сжечь, уничтожить человека или жертвенное животное, но и служить средством его проклятия в процессе ритуального обряда. Ср. в немецких диалектах *ex häd-mer Ant atue* “он нанес мне ущерб, он меня обидел”. В этой связи можно привести примеры из др.-перс. *droaga-* “ложь”, но др.-инд. *droha-* “ущерб, вред, увечье”, др.-инд. *druh* “быть враждебным”; лат. *fraus* “ущерб, вред”, но затем “ложь”.

Любопытно, что русское слово *аран* “обманщик, лжец” не имеет никакого отношения к названию национальности – *араб*, а напрямую соотносится со словом одного из древнейших индоевропейских языков – хеттского: *arp-* “беда, несчастье, страдание” (типологически ср. англ. *wretch* “несчастный”, но также “негодяй, обманщик”).

Также необходимо обратить внимание на представленное в современных английских диалектах слово *hand* “обуза, неприятность,

ущерб”: ср. *He was a great hand to me* “Он был для меня большой обузой”. Этот корень непосредственно соотносится с русским словом *утка* “ложь” (и.-е. **and-*).

Но вернемся к “огненной” стихии. Вот как описывает языческое понимание огня известный русский языковед Д.Н. Овсяннико-Куликовский: “Огонь выходит из дерева: стихия подвижная, эфирная, неустойчивая возникает из плотного тела, горячее выходит из холодного. Очевидно в дереве скрыт огонь, и процесс трения только вызывает его наружу. Это, стало быть, не более как магическая манипуляция, принуждающая в дереве божество выйти из своего убежища. Но вот он вышел, он появился, — с треском и блеском; — сперва он неровен, угловат и безобразен; его кормят — он пожирает щепки, ветви, листья — пожирает и растет, и по мере возрастания незаметно превращается из неуклюжего в стройного и сильного, — вот он уже превратился в яркое и мощное пламя, он уже далеко не безобразен, он красив и величествен, — он великолепен, — особенно когда угостят его растопленным маслом (он любит эту пищу); пожирая масло и щепки, все растет и растет он; его огненные языки тянутся к небу; он мечет искры и в клубах дыма уносится в небеса. Если в этот дым бросить крылатое слово молитвы, оно улетит вместе в небеса, к богам” (Овсяннико-Куликовский Д.Н. Опыт изучения вакхических культов индоевропейской древности в связи с ролью экстаза на ранних ступенях развития общественности. Одесса, 1883. Ч. I).

Первоэлементом Вселенной был не только Огонь, но и Слово, которое непосредственно связано с огнем. Чрезвычайно важно учесть немецкое диалектное слово *anden* “говорить, сообщать”, которое родственно всем указанным ранее словам со значениями “утка” → “душа, дух” → “огонь” → “наносить ущерб; ненавидеть”. Однако слова со значением “говорить” нередко принимают отрицательный смысл “говорить неправду”, для примера ср. индоевропейский корень **uer-* “говорить” (а с другой стороны, и.-е. **uer* “гореть”, например, в русском слове *варить*), но русское *врать*. Соотношение значений “огонь, гореть” → “говорить, язык, речь” наблюдается в ряде индоевропейских языков: ср. др.-англ. *lieg* “огонь” — греч. *legein* “говорить”, но также нем. *lügen* “лгать”; и.-е. **mel-* / **mer-* “гореть” — швед. *mdl* “язык, речь”, но также литовск. *melas* “ложь, обман”; и.-е. **uel-* / **uer-* “гореть” — и.-е. **uer-* “говорить”, но также литовск. *vilt* “обманывать”.

Интересно, что развитие значений “птица” → “дышать, дух” → “злой дух” → “огонь” → “наносить вред” → “лгать” (а также “огонь” → “говорить” → “лгать”) наблюдается и помимо корня, представленного русским словом *утка*. В “Этимологическом словаре русского языка” М. Фасмера указывается, что русское слово *утка* в значении “обман” является семантической калькой с французского *canard* “утка, обман” (ср. франц. *donner des canards*). Само французское слово *canard* “утка” объясняется большинством французских лексикографов как лат. *anas* “утка”, перед которым якобы стоит звукоподражательный элемент, передающий крикание утки. Такое объяснение неубеди-

тельно. Нам представляется, что франц. *canard* “утка” соотносится с греч. *skánthos* “птица” (и.-е. **(s)kend-*), и.-е. **kand-* “гореть” → “душа”, др.-англ. *sweðan* “говорить”, и.-е. **kad-* “зло”, и.-е. **kent-* “страдать, мучить(ся)”. Таким образом, французское слово *canard* “утка; обман” получает адекватное объяснение, отсутствующее как в словаре Фасмера, так и во французских этимологических словарях. В этой связи интересно сопоставить англ. *duck* “утка” – русск. *дух* – и.-е. **dheg-* “гореть” (ср. литовск. *dėgti* “гореть”, русск. *деготь*, т.е. “то, что плавится” – англ. диал. *dick, duck* “злой дух, черт”, но также лат. *dicere* “говорить” → “лгать”. Любопытно, что значение “дух” может переходить в значение “пустота; то, чего нельзя видеть” (ср. англ. диал. *duck* «пустота, счет “нуль” в игре»): ср. каламбур *Duck for dinner*, который можно перевести и как “Утка на обед”, и как “Ничего нет на обед”). Значение же “пустота” часто переходило в значение “обман”: ср. лат. *vacuus* “пустой”, но др.-инд. *vākyu-* “ложь, обман”.

Далее следует иметь в виду, что значение “дух, дышать” непосредственно связано со значением “дуть”, а это последнее дает значение “обманывать”; ср. русск. *дуть*, но русск. *на-дуть* “обмануть”; франц. *trompe* “охотничий рог, рожок, труба”, но франц. *tromper* “обманывать”. Вполне возможно, что здесь произошло наложение значений, типичных для охотничьего языка.

Э.М. МУРЗАЕВ. Топонимика и география

Имя Эдуарда Макаровича Мурзаева, известного географа и топонимиста, хорошо знакомо нашим читателям. С большим удовольствием представляем новую книгу, в которой он вновь обращается к проблеме происхождения и функционирования географических названий, привлекая данные истории, филологии, лингвистики, что придаст комплексный характер его исследованиям.

Всем известно, что человек с древнейших времен селился возле воды, поэтому названия гидронимов можно отнести к числу древнейших. Значительную часть своей работы Э.М. Мурзаев посвящает именам рек, озер и другим водным объектам. Вслед за Л.И. Мечниковым он отметил три великих исторических периода в развитии цивилизации: 1 – древнейший речной; 2 – морской – от финикийцев до Греции, Рима, Византии; 3 – океанический – от Христофора Колумба до наших дней.

В.О. Ключевский считал речную сеть Русской равнины одной из выдающихся ее особенностей. Реки служили главными путями сообщения, на них возникали торговые города. Волоками и каналами реки соединялись в единую гидрографическую сеть, что способствовало развитию транспорта, экономики и концентрации населения на берегах рек.

Э.М. Мурзаев уделит особое внимание топонимам с компонентом *волоок*. Ими отмечены места, где в древности переволокивались суда из бассейна одной реки в другой: *Волок*, *Волочёк*, *Переволоки* и т.д. Большой известностью пользовался *Яузский волок*, значительно сокращавший путь из Москвы на Оку. При нем возникло укрепление – *Яузский мыт* (современный город *Мытищи*), где взимался мыт, т.е. пошлина с перевозимых товаров.

Речные названия *Десна* (правая) относятся, как правило, к левым притокам рек, согласно современной ориентации, а *Шуя*, *Шуйца* (т.е. левая) – к правым. Это свидетельствует об ином способе ориентации в прошлом и о том, что осваивавшие эти территории славяне двигались вверх по рекам. Тогда левые притоки оказывались от них справа. Это справедливо не только для России, но и для других славянских земель (Болгария, Сербия, Черногория, Босния). Кстати, названий *Десна* значительно больше, чем *Шуя*.

Реки и озера у многих народов почитались священными. Многие озера в разных частях мира на разных языках носят название *Святое*. Автор подробно останавливается на этой типологии в их наименовании. Главной рекой славянского мира в прошлом считался Дунай, свидетельство о чем сохранилось в фольклоре.

Специфика топонимической номинации в нашей стране заключается в том, что ряд названий морей восходит к названиям рек: *Охотское море* от реки *Охоты* (эвенкийск. *окат(а)* “река”), *Карское море* от реки *Кары*, *Чёшская губа* (р. Чёша). Вне России названий морей, восходящих к речным именам, нет.

Значительное внимание Э.М. Мурзаев уделяет образу места и тому, как этот образ воспринимается людьми различных культур и как закрепляется в словах. Например, озера круглой формы нередко получают названия *Котелок*, *Сковорода*, *Чашка*, а продолговатой – *Долгое*, *Долгуша*, *Протянушка*. О гидрологическом режиме рек говорят такие их названия, как *Поникла* (иссыкает вниз по течению), *Борзна*, *Борзенка* (с быстрым течением), *Пьяна* (бесконечно петляет, при общем протяжении в 425 км ее исток отстоит от устья всего на 30 км).

Автор отмечает универсальность ассоциаций, вызываемых образом места у представителей разных культур. Так, русским словом *котёл*, кроме предмета домашнего обихода, обозначают глубокую впадину, самое глубокое место в озере, производным от него – *котловина* – понижение, впадину, углубление. В немецком языке словом *Kessel* (котёл) обозначают жерло вулкана, в тюркских словом *казан* (котёл) также впадину, котловину.

Названия многих топонимов повторяют названия частей тела человека или животного, например, *глаз* – открытое место, заполненное водой в болоте, *око* – глубокое место в реке, а в Карпатах – небольшое озеро; *голова* – вершина горы и исток реки. Э.М. Мурзаев приводит многочисленные примеры, свидетельствующие о том, что перенос анатомической лексики в географическую происходит у разных народов по одним и тем же закономерностям, впрочем, нашим читателям это знакомо по его публикациям в “Русской речи” (см.: 1993. №№1–4). Из всех признаков, присущих объекту, народ выбирает самый яркий, наиболее характерный, делает его основой названия, и это типично для людей разных культур.

В XX веке сделалось широко известным книжное название *Евразия*. Э.М. Мурзаев показал обоснованность его распространения, поскольку вопрос о том, где проходит граница Европы и Азии, не имеет однозначного ответа. Исторические судьбы европейских и азиатских народов тесно переплетены, а отделение Европы от Азии во всех отношениях искусственно. Принятый в ряде стран Запада европоцентризм, т.е. утверждение о превосходстве европейской культуры, не выдерживает критики, поскольку не учитывает того, что древнейшие области цивилизации были не в Европе (три в Азии, одна – в Египте), а греко-римское влияние в свое время распространилось не только на Европу, но и на Индию, Среднюю Азию и прилегающие страны, 70% разводимых в мире культурных растений пришли из Азии, и в Азии зародились все мировые религии. На Ближнем Востоке родилась Библия, в которой сформулированы этические нормы и каноны нравственности для народов всего мира.

Взаимное познание народов Востока и Запада началось в глубокой древности, при этом Россия играла важнейшую посредническую роль, чему способствовало ее географическое положение. Противопоставление духовности Востока и рассудочности Запада должно в дальнейшем смениться их сообществом в области материальной и духовной культуры, в аспектах цивилизации, общечеловеческих ценностей, правовых норм. Э.М. Мурзаев приводит слова Р. Тагора о том, что противопоставление одной части человечества другой ведет к деградации мировой культуры. Р. Роллан сравнивал Восток и Запад с двумя полушариями человеческого мозга: если деятельность одного из них нарушается, деградирует весь организм.

В разделе “Топонимическая мозаика” Э.М. Мурзаев останавливается на названиях некоторых географических объектов, преимущественно спорных, не имеющих единого объяснения (*Алтай, Байкал, Воронеж, Вятка, Енисей, Иртыш, Конотоп* и др.). Особый раздел книги посвящается названиям “неведомых земель”, т.е. гипотетических объектов, в существовании которых мы до конца не уверены. Невидимый град *Китеж* Э.М. Мурзаев называет малой русской *Атлантидой*. Согласно легенде, в XIII веке, во время монголо-татарского нашествия, Китеж опустился на дно озера Светлый Яр. Его жители нашли спасение под водой. Они и сейчас там живут, о чем свидетельствует колокольный звон, раздающийся там время от времени. Бесспорного объяснения названия *Китеж* пока нет.

Большой раздел книги посвящается переименованиям географических объектов, которые существовали всегда, но небывалой активности достигли после 1918 года. Переименования зачеркивают заключенную в прежних топонимах информацию, нарушают прежние культурные связи. Во время Генерального межевания России в конце XVIII века землемерам разрешалось заменять “некрасивые” названия на нейтральные. В качестве некрасивого названия часто приводят *Пропойск* (ныне *Славгород*). Но этот топоним не имеет отношения к пьянству. Город расположен при впадении реки *Проня* (старое название *Пропань*) в реку Сож. При устье Прони имеется водоворот – *пропой*, что и дало название городу. Таким образом, его название передавало характеристику водного режима реки.

Э.М. Мурзаев отмечает, что очень трудно найти новое название взамен устранимому старому, обычно оригинальному и информативному. Поэтому новые названия бесконечно повторяются. Например, в Краснодарском крае 121 название селений содержит прилагательное *красный*, 145 – *новый*. В официальных списках почтовых предприятий Министерства связи СССР числилось 150 городов, поселков, железнодорожных станций, образованных от фамилии *Киров*, 40 – от фамилии *Куйбышев*, 33 – от фамилии *Дзержинский*, 100 – от фамилии *Калинин*. В 39 названий населенных мест входило слово *труд*. Стремление к “красивым” названиям породило речные имена *Мечта, Диана, Венера, Молодость, Чудо, Старт* в Восточной Сибири. Чуждые топонимической системе, они вызывают лишь чувство недоумения. В результате

волевых необоснованных решений изгонялись исторические названия, нередко уникальные (*Тверь, Вятка, Пермь*), сформировался удручающе однообразный топонимический пейзаж, а главная функция географических названий – адресная, оказалась нарушенной.

Географические названия любой территории не создаются на одном каком-нибудь языке. Они – сумма языков народов, живущих и живших на данной территории. Они могут быть перенесенными из других мест, как, например, *Фершампенуаз* на Урале, где не было французов, но был расквартирован полк, дошедший до этого места во Франции во время войны 1812–1814 годов. Разнообразие топонимов любой территории достигается именно благодаря их многоязычности: одно и то же географическое понятие (озеро, река) может быть повторено на разных языках, создавая топонимический ландшафт, индивидуальный для каждого региона. Переименования стирают это многообразие, что хорошо показано в книге Э.М. Мурзаева. Вот почему, изучая топонимию, никогда нельзя ограничиться одним языком, о чем свидетельствует книга Э.М. Мурзаева, человека, обладающего энциклопедическими знаниями.

Заключает книгу раздел об ушедших из жизни топонимистах. Первым, по праву, представлен Н.И. Надеждин, русский филолог с широким диапазоном интересов, чье 150-летие со дня рождения отмечалось в 1995 году. Н.И. Надеждин положил начало изучению географических названий в России. Далее даются краткие научные биографии ученых второй половины XX века, способствовавших быстрому развитию топонимической науки в нашей стране. Благодаря их деятельности топонимика оказалась интересной для всех, кому дороги история и география отечества, языки, культура многих народов, его населяющих. Это: В.А. Жучкевич (1915–1985), М.Н. Мельхеев (1906–1982), В.А. Никонов (1904–1988), А.И. Попов (1899–1973), Л.Л. Трубе (1921–1988).

С большим знанием дела и доброжелательным отношением к людям автор изложил огромный материал, привлекая множество языков, говоря о представителях разных культур и их вкладе в формирование топонимии Земного шара. Книгу Э.М. Мурзаева по количеству включенного в нее материала и по роли, которую она сыграет в распространении научных знаний, можно сравнить с топонимической энциклопедией. Книга представит интерес для филологов, историков, географов и для всех, интересующихся происхождением географических названий и их ролью в жизни общества. Большое внимание автор уделил и географическим названиям России, о которых вы узнаете, прочитав книгу Э.М. Мурзаева “Топонимика и география”.

А.В. Суперанская,
доктор филологических наук

СЛОВАРЬ НОВЫХ СЛОВ РУССКОГО ЯЗЫКА

Любой большой словарь живого языка в силу динамичности объекта, сложности его подготовки и издания поневоле отражает вчерашний день: в него не успевают попадать слова новейшие.

Представляя в 1927 году отчет о работе над академическим “Словарем русского языка”, академик В.М. Истрин и будущий академик Л.В. Щерба писали: “Что же касается новых слов, новых словообразований и новых значений старых слов, то собирание и издание их... должно составить особую задачу”. Понадобилось 40 лет, чтобы эта “особая задача” была решена (точнее – начала решаться) практически.

Жизнь новых слов во времени неодинакова: она или одноступенчатая, или двухступенчатая, или трехступенчатая. Это означает: первое появление неологизма в речи (в печатных текстах), которое может быть (и часто бывает) последним; его неоднократное повторение в рамках некоего небольшого – условно десятилетнего – контрольного отрезка времени; его документированное бытование в языке двух смежных человеческих поколений – его полная социализация.

В соответствии с этой трехступенчатостью новизны, не обязательной для каждого слова (практически – для большинства слов), доктор филологических наук Н.З. Котелова разработала три типа неологических словарей: словари-ежегодники (опубликованы “Новое в русской лексике. Словарные материалы-77” – и до 1984 года, на пороге типографии аналогичные словари за 1985-90 годы); словари-десятилетники (опубликованы “Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 60-х годов”, то же – 70-х годов; в издательской работе – 80-х годов, в стадии авторской подготовки – 90-х годов) и, наконец, большой “Словарь новых слов русского языка”, увидевший свет в сентябре 1995 года.

Словарь охватывает новые слова за 30 лет – от середины 50-х годов (от первых послесталинских лет, от начала “оттепели”) до середины 80-х годов (до начала демократических преобразований в политике и экономике). Слова, представленные в нем, – это и фонетически новые слова, и новые значения старых слов, и новые устойчивые словосочетания прямого значения, и новые идиоматические обороты (около 220), и новые употребительные аббревиатуры, – все то, что стало принадлежностью современного литературного языка. Эти слова (от нового слова *абиогенный* до нового значения слова *ящик* – всего около 10

тысяч словарных статей) прошли испытание временем и на сегодняшний день уже утратили новизну. Они – языковой памятник своего времени. Следовательно, словарь историчен.

В структуре статей словарь следует классическим канонам русской лексикографии. Новым является обязательный показ реального (не всегда соответствующего строгой системе) происхождения каждого слова. Тем самым он вносит вклад в представление о современном состоянии русского словопроизводства.

Лексика языка постоянно развивается. И хотя это утверждение бесспорно, для избранного отрезка времени оно требует наглядного доказательства. Отсюда – задача конкретного (на уровне слова), визуального показа, чем обогатился язык за этот период, – задача, которая реализуется только в особых типах словарей. Поэтому закономерно желание, чтобы подобные словари (всех трех типов) создавались и впредь.

Словарь составлен научными сотрудниками Словарного отдела Института лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург) под руководством Н.З. Котеловой (1925–1990) и с истинно петербургским вкусом издан издательской фирмой “Дмитрий Буланин”, специализирующейся на выпуске научной гуманитарной литературы.

Е.А. Левашов,
кандидат филологических наук
Санкт-Петербург

В. БИРКЕНМАЙЕР. Русский Гейдельберг

Так называется книга, выпущенная летом 1995 года в Гейдельберге издательством Wunderhorn. Ее автор – директор Русского отделения Института переводчиков Гейдельбергского университета профессор В. Биркенмайер. Презентация книги, собравшая многочисленную аудиторию, с успехом прошла в городской библиотеке. Почти сразу появились отзывы в центральной и местной немецкой печати. Хочется, чтобы об этой замечательной работе знали и в России.

Издание “Русского Гейдельберга” – несомненный и значительный вклад в изучение истории российско-немецких отношений и культурных связей между нашими странами. И тем более отрадней, что это солидное исследование – своеобразный итог длительной и плодотворной деятельности ученого, отдающего много сил преподаванию русского языка немецким студентам в одном из старейших университетов Европы.

Университет в Гейдельберге, знаменитом своей историей, архитектурой и культурой, живописнейшем городе на юге Германии, был открыт в 1386 году и по праву носит имена двух основателей – курфюрста Рупрехта и “гроссгерцога” Карла, в разное время содействовавших его рождению и упрочению. Более чем 600-летняя история известного на весь мир учебного и научного центра хранит немало выдающихся событий, связанных с развитием образования и культуры в Европе. В этой истории с 60-х годов XIX века открывается русская “страница”, дающая полное право говорить о русском Гейдельберге.

Петр Георгиевич Редкин (1808–1898), юрист, один из составителей первой русской юридической энциклопедии, бывший в 1873–1876 годах ректором Санкт-Петербургского университета, одним из первых русских учился в начале 30-х годов в Гейдельберге и оставил свои воспоминания, опубликованные в журнале “Юридические записки” (СПб., 1841). Хотя они называются “О гейдельбергском юридическом факультете”, но в начале содержат подробный рассказ об истории университета и его традициях, а также множество личных впечатлений о пребывании в Гейдельберге. Описывая город с населением в 13 тысяч жителей, Редкин отмечает, что “город знаменит не столько своими памятниками и изумительными окрестностями, сколько своим университетом”. Он называет Гейдельберг “землей обетованной” для студенчества. (Сейчас в городе 135 тысяч жителей и 30 тысяч студентов.)

Климент Аркадьевич Тимирязев, известный русский ученый-биолог, тоже учившийся в Гейдельберге, но уже в 1868–1870 годах, писал: “Гейдельберг был тогда Меккой, в которую стремились русские студенты”.

По счастливому стечению обстоятельств (а может, исторической закономерности?), здание – “Дом гиганта”, в котором в XIX веке проходили занятия большинства русских студентов, отдано Институту переводчиков, Русским отделением которого в течение 15 лет руководит профессор Биркенмайер.

Выходу в свет книги о русских в Гейдельберге предшествовали огромная и кропотливая работа в архивах России и Германии, чтение мемуаров, писем, исторической и художественной литературы, руководство многочисленными дипломными работами студентов, специально занимавшихся (и занимающихся) изучением судеб русских гейдельбержцев, издание целой серии выпусков университетского сборника “*Russica Palatina*” (с № 19 за 1991 по № 25 за 1994 год). Эти выпуски содержат переводы и оригиналы материалов, с каждой страницы которых звучат русские голоса из Гейдельберга. ●

Первые два так и назывались – “*Russische Stimmen aus Heidelberg*”. Один включал письма и воспоминания историка Степана Васильевича Ежевского, композитора и химика Александра Порфирьевича Бородина, славянофила Ивана Сергеевича Аксакова, математика Александра Ильина, историка Афанасия Миротворцева и филолога А. Чистякова. Там же помещена краткая историческая справка о пребывании в Гейдельберге русских женщин-студенток. Оказывается, начало женского образования в университете положили именно русские – Софья Ковалевская, Юлия Лермонтова, Анна Евреинова.

Второй выпуск “Русских голосов...” посвящен Николаю Ивановичу Пирогову и его педагогической деятельности в Гейдельберге. Последующие выпуски “*Russica Palatina*”, вышедшие при непосредственном участии профессора Биркенмайера, были посвящены публикации материалов о гейдельбергском периоде в судьбах Осипа Манделштама (1992. № 21), Дмитрия Ивановича Менделеева (1993. № 22), Петра Георгиевича Редкина (1993. № 23). С.В. и В.О. Ковалевских (1993. № 24).

Двадцать пятый выпуск альманаха (1994 г.) имеет название “Гейдельбергский сборник” с подзаголовком: “История одного несостоявшегося издания” и подготовлен под редакцией проф. Биркенмайера и М.Ш. Файнштейна (Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии наук). В предисловии редакторы рассказывают об удивительной судьбе рукописи сборника, который был посвящен 50-летию юбилею Русской читальни имени Николая Ивановича Пирогова. Торжество это состоялось в Гейдельберге в декабре 1912 года, а сборник, включавший воспоминания и письма русских гейдельбержцев, так и не был издан. И лишь недавно часть этих документов была обнаружена М.Ш. Файнштейном в Санкт-Петербурге в Архиве Российской академии наук, Рукописным отделе Российской национальной библиотеки и Российском государственном историческом архиве.

Чудом уцелевшие материалы не были до сих пор опубликованы. Они представляют несомненный интерес для всех, кто занимается изучением истории отношений России и Германии. Редакторы уверены в том, что издание спустя 82 года материалов “Гейдельбергского сборни-

ка" восстанавливает историческую справедливость и свидетельствует, что "никакие, даже самые страшные потрясения не способны нарушить традицию культурных и научных связей между нашими странами". Сборник издан на русском языке и включает воспоминания и переписку русских гейдельбержцев при подготовке юбилея читальни, а также статьи, появившиеся в русских газетах в связи с торжествами в Гейдельберге, и записи речей, произнесенных бывшими студентами на юбилее. С понятным волнением держу в руках ярко-желтый томик с изображением куполов собора Василия Блаженного на обложке: с каждой страницы звучат голоса наших соотечественников начала века, многие из них внесли заметный вклад в развитие науки, образования и культуры России, а в своих живых и непосредственных записках по-доброму вспоминают годы учебы в "Резиденции Духа". Судьба каждого из них по-своему уникальна, и издание в Германии русского "Гейдельбергского сборника" безусловно поможет восполнить пробелы в истории отечественной культуры конца XIX – начала XX веков.

Главный итог многолетней кропотливой работы проф. Биркенмайера над русской темой – выход в свет "Русского Гейдельберга". Подзаголовок книги – "К истории немецко-российских отношений в XIX веке". Перед нами не только подробный и обстоятельный рассказ о русской колонии в "миловидном" Гейдельберге (как назвал его один из русских), о замечательных людях, чьи судьбы в разные периоды были связаны с городом и университетом. Книга примечательна еще и тем, что автор, наш современник, немецкий ученый, живо интересующийся прошлым и настоящим России, избирает такую форму повествования, которая позволяет "навести мосты" между историей и нашим временем: эмоциональный рассказ о русских гейдельбержцах органично включает в себя отрывки из мемуаров наших современников (К. Чуковского, Т. Сильмана и В. Адмони, Е. Долматовского и др.), высказывания сегодняшней прессы, отсылки к трудам философов и историков, данные энциклопедий и биографических словарей.

Композиция книги позволяет проследить жизнь русского Гейдельберга со времени создания русской колонии до 1914 года, выделяя наиболее важные, по мнению автора, страницы этой истории.

Образование русской колонии связано с деятельностью известного врача и педагога Н.И. Пирогова. Прожив здесь четыре года, Николай Иванович всемерно содействовал общению русских студентов друг с другом: местом таких контактов стала созданная по его инициативе читальня – своеобразный клуб русских, где можно было знакомиться с доставлявшимися из России газетами и журналами, обсуждать актуальные вопросы общественной и политической жизни и просто общаться. Читальня недаром носила с 1881 года имя Пирогова – именно его общественные устремления способствовали созданию ее духа на протяжении 50 лет.

Студенческая жизнь описана в книге во всем ее многообразии: учеба, личные контакты с немецкими профессорами и студентами, политические споры и дуэли, пирушки и издание газет. "Центр европейской

науки”, как назвал университет К.А. Тимирязев, содействовал становлению таких корифеев русской науки, как Д.И. Менделеев, С.В. Ковалевская, Н.Н. Миклухо-Маклай, А.Е. Ферсман, А.Н. Лебедев, К.А. Тимирязев, И.М. Сеченов. Подчеркивается исключительно доброжелательное отношение немецкой профессуры к русским студентам: они были самыми желанными в аудиториях и лабораториях, радуя своим рвением к наукам. Профессор Радбрух искренне признавался, что он больше всех любил русских студентов.

Вместе с автором мы путешествуем по восхитительным улочкам и переулкам древнего и вечно юного города, отмечая дома, где останавливался, неоднократно приезжая сюда, И.С. Тургенев, жили Н.А. Римский-Корсаков и А.Н. Скрябин. Саша Черный воспел в целом цикле стихотворений Гейдельберг и его жителей. Осип Мандельштам впитывал здесь традиции классической немецкой поэзии. Мариэтта Шагинян оставила нам воспоминания о пребывании в Гейдельберге в 1914 году.

Сильное влияние оказала гейдельбергская юридическая школа на формирование правовой мысли России конца XIX – начала XX веков. Профессор В. Биркенмайер убежден, что и разработках первой русской конституции, и создание Думы шли под воздействием знакомства с системой юриспруденции в Германии. По крайней мере три гейдельбержца стали депутатами Государственной Думы – первого парламента в России: М. Гершенштейн, Г. Иоллос и Ф. Кокошкин. Два министра Временного правительства “вышли” из Гейдельберга: А. Гучков и А. Мануйлов. А в самом начале XX века Сергей Григорьевич Сватиков защитил диссертацию “О развитии конституционных идей в России”, принимал самое деятельное участие в подготовке и проведении юбилея читальни, после февральского переворота стал комиссаром Временного правительства, затем (с 1922 года) читал в Сорбонне лекции по истории Восточной Европы и умер в 1944 году в США.

Гейдельберг стал “колыбелью” для министра (комиссара) юстиции в первом большевистском правительстве И. Штейнберга и известного лидера эсеров – террориста Б. Савинкова, Е.С. Боткина, врача царской семьи, расстрелянного в 1918 году в Тобольске, и М. Владимирского, комиссара здравоохранения в 1930–1934 годах, отца Ларисы Рейснер, Михаила Рейснера, социолога и правоведа.

Трудно перечислить имена всех даже очень известных в истории России людей, чья жизнь связана с Гейдельбергом. Но не могу удержаться и назвать хотя бы некоторые: педагоги Л.Н. Модзалевский и В.Я. Стоюнин, физик А.Г. Столетов и историк С.М. Соловьев, философы М.И. Владиславлев (переводчик “Истории чистого разума” Канта) и А.И. Введенский (основатель русского неокантианства), социолог Ф. Степун, редактор “Русских ведомостей” юрист В.М. Соболевский, климатолог и географ А.И. Воейков. Список русских гейдельбержцев, помещенный в конце книги, насчитывает более 120 фамилий, но автор утверждает, что это еще не полный перечень, и значит, впереди – поиски и новые открытия.

В разговоре со мной профессор Биркенмайер говорил о большом удовлетворении, которое он испытывает от изучения русской темы. “Эта работа – для души”, – заметил он. Обращение к истории – закономерный шаг в развитии научных интересов ученого-филолога, убежденного в том, что истинное знание языка невозможно без знания истории и культуры страны. Связь времен, судьбы замечательных людей – вот то, что прежде всего волнует исследователя. Оценивая русское студенчество конца XIX – начала XX веков, профессор выделяет огромную любовь к науке и самоотверженное служение Родине. В истории взаимоотношений между немецкими и русскими учеными его поразило “глубокое взаимоуважение, нормальность тесных научных и личных контактов”.

В последнее время профессора интересуют памятники русской материальной культуры на немецкой земле: вилла И.С. Тургенева в Баден-Бадене, русские кладбища и церкви, архитектурные ансамбли, имеющие отношение к истории России.

Хочется выразить искреннюю благодарность господину Биркенмайеру за его благородную деятельность в исследовании нашей истории и многовековых связей между Германией и Россией. Остается надеяться, что книга “Русский Гейдельберг” вызовет интерес в нашей стране и будет переведена на русский язык. А пока сообщая адрес издательства, где можно заказать книгу: Verlag Das Wunderhorn GmbH Blumenstr. 29 69115 Heidelberg.

Т.В. Парменова,
кандидат филологических наук
Гейдельберг, Германия

А.И. ВИНОГРАДОВ. Детство А.С. Пушкина

Книга известного краеведа вышла в московском издательстве “Филология” в 1995 году. Ее 12 глав связаны мыслями о Московско-Захаровском периоде жизни и творчества Пушкина, о едином культурно-историческом пространстве Захарово – Большие Вяземы, на котором расположен Государственный историко-литературный музей-заповедник имени А.С. Пушкина, где прошла вторая половина детства Александра Пушкина (1805–1810 гг.).

Во введении “Парадоксы Пушкина” автор отмечает, что литература о детстве Пушкина немногочисленна и противоречива. Нет точных сведений о том, в каком именно районе Москвы родился поэт. Родителей Пушкина обычно обвиняют в невнимании к старшему сыну. Общими местами стали суждения о жестокости матери и равнодушии отца. Говоря о детстве Пушкина, пишут о Москве и умалчивают о жизни будущего поэта в Захарове.

Глава “И присмирел наш род суровый...” повествует о родителях Пушкина и других родственниках, особенно о бабушке поэта по материнской линии – Марии Алексеевне, ее важной роли в воспитании будущего поэта. По одной главе посвящено Б. Вяземам – “Остановный ям на Вяземе” и няне – “Арина Родионовна”.

В двух главах рассказывается о жизни Пушкина ребенком в Москве: “Рождение Александра. Первые шаги”, “Литературная Москва. Литературные предшественники и друзья”. Приводятся соображения в пользу того, что Пушкин родился на Молчановке. А.И. Виноградов показывает, что первыми литературными учителями Пушкина были Н.М. Карамзин, глава русского сентиментализма, и его друг поэт И.И. Дмитриев; В.А. Жуковский и К.Н. Батюшков, крупнейшие русские поэты начала XIX в.; поэт П.А. Вяземский и литератор А.И. Тургенев. По счастливому для Пушкина и отечественной культуры стечению обстоятельств все они в начале века проживали в Москве и бывали частыми гостями в доме родителей Пушкина. Их оживленные беседы, чтение своих произведений во время этих встреч в той или иной мере оказывали воздействие на впечатлительного мальчика.

В шести главах: “Бабушкина подмосковная”, “Счастливое детство”, “Расставание с детством”, “Мне видится мое селенье...”, “Все наше решилось”, “Возрождение” – А.И. Виноградов одним из первых среди своих предшественников обращает внимание читателей на исключительную важность жизни Пушкина в Захарове для развития его поэти-

ческого дарования. Захарово (вместе с Москвой) стало колыбелью поэзии русского гения.

В заключение нельзя не сказать несколько слов об авторе книги. Ученый-химик А.И. Виноградов последние 25 лет прожил в Б. Вяземах, рядом с Захаровым, и вполне ощутил значение для России скромного сельца и его окрестностей. Вместе с другими энтузиастами он добился правительственного постановления о создании заповедника на базе вяземской и захаровской усадеб. А.И. Виноградов скончался в августе 1995 г. Он успел увидеть труд своей жизни напечатанным.

Н.Я. Соловей,
кандидат филологических наук

СУВЕРЕНИТЕТ, ТОПОНИМЫ И ПРЕДЛОГИ

Эр. ХАН-ПИРА,
кандидат филологических наук

Руководители информационных телерадиопрограмм сообщили в "Известиях" (12.03.94), что в обиход этих программ входят прежние названия городов и государств ближнего зарубежья и некоторых республик РФ. Здесь же был помещен список прежних и новых названий (*Татария* и *Татарстан*, *Ашхабад* и *Ашгабад*, *Алма-Ата* и *Алматы*, *Киргизия* и *Кыргызстан* и т.д.).

Замечу, во-первых, что до революции в России говорили и писали *Асхабад*. То же самое с именами *Эривань*, *Тифлис*, *Батум*, *Сухум* (с 30-х годов *Ереван*, *Тбилиси*, *Батуми*, *Сухуми*). Причем первое имя меняло грамматический род, а остальные становились несклоняемыми (вроде *Токио*, *Осло*, *Дели*). Отмечу, во-вторых, что *Татарстан*, например, официальное наименование государства, пришедшее на смену тоже официальному наименованию – *Татарская АССР*. И точно так же с *Беларусью*, *Кыргызстаном*, *Туркменистаном*. В официальных документах все равно, разумеется, следует писать *Беларусь*, *Кыргызстан*, *Татарстан*, как пишут там же не *Австралия*, а *Австралийский Союз*, не *Австрия*, а *Австрийская Республика*, не *Швейцария*, а *Швейцарская Конфедерация* и т.д. Вспомним, кстати, что за рубежом во времена СССР название тогдашнего государства в неофициальной речи часто заменяли словами *Советский Союз*, *Россия*. Но в официальной (даже на спортивных соревнованиях) звучало *USSR*. Кстати, 65-я статья Конституции РФ закрепляет как равноправные официальные наименования *Республика Калмыкия* и *Хальм Танг*, *Республика Якутия* и *Республика Саха*, а статья 1-я придает статус официальных двум наименованиям федерального государства – *Российская Федерация* и *Россия*.

С недавнего времени в печати и на радио нарушается подлинно языковая норма: говорят и пишут "в Украине", "в Украину". Это произошло потому, что вместо прежнего названия государства – *Украинская ССР* в новой украинской конституции закреплено другое – *Украина* (не *Республика Украина*, не *Украинская Республика*, а именно и только *Украина*). Вот и стали некоторые пишущие и говорящие, когда речь идет о государстве, употреблять после глаголов движения и пребывания предлоги *в* и *из* (*возвратился в Украину*, *уехал из Украины*). Когда же имеется в виду определенная территория, страна, в дело идут предлоги *на* и *с*. Однако выбор предлогов в таких случаях не зависит от того, есть ли на данной территории суверенное государство или нет. И до обретения Ирландией независимости, и после по-русски говорили

“был в Ирландии”, “отплыл из Ирландии”. То же самое и с Исландией. Даром, что это названия островов (ср., однако, *на Кубе* и *в Республике Куба*). Кстати, манипуляция предлогами *в* и *на* перед словом *Украина* порой запутывает читателя и, кажется, самих пишущих. Судите сами: “В прошлый год на Украину обрушился бензиновый голод... Уже более века в Карпатах качалки высасывают из недр черное золото... Но что там сейчас, да и что вообще с нефтяным запасом в Украине?... Прикарпатье и Карпаты, традиционные места нефтедобычи в Украине... В основе... спора... лежит вопрос: завозить в Украину нефть морем или же, как и прежде, из России по трубам?” Это в одной и той же статье (“Известия”. 1994. 16 июня).

Норма употребления предлогов *в* и *на* с названиями стран, государств, регионов, частей материков весьма прихотлива (*на Ямале, Камчатке, но в Крыму; на Кавказе, Урале, Памире, но в Альпах, Андах, Тибете*). Однако это сегодняшняя норма. И нарушать ее не нужно. Даже ради уважения к суверенитету.

ОСТОРОЖНО: КОВАРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ!

*Н.А. ЕСЬКОВА,
кандидат филологических наук*

Много лет назад я написала в газету “Советская культура” (которая теперь просто “Культура”) по поводу одной музыкальной передачи на телевидении. В то время музыкальная классика не была на голубом экране редкой гостьей и можно было даже озаботиться такой “мелочью”, что одной передаче “не повезло”. Запись замечательного концерта с участием Святослава Рихтера была трижды показана по телевидению, но ей каждый раз подбирали такого “конкурента” (по другой программе), что круг ее слушателей оказывался заведомо намного уже, чем мог бы быть. Один раз это был фильм “Москва слезам не верит”, другой раз – “Что? Где? Когда?”, третий – КВН. А ведь эта передача в условиях “наибольшего благоприятствования” могла бы кое-кого “приобщить к прекрасному” (как говорят те, кто любит “говорить красиво”).

Полученный мной ответ (тогда отвечали на письма!) свидетельствовал о полном непонимании моей постановки вопроса. Смысл был тот, что они не могут исходить из интересов тех телезрителей, кого Рихтер интересует больше, чем популярный кинофильм, но при этом была допущена языковая ошибка, менявшая смысл на прямо противоположный. (Ради того, чтобы подвести к этой ошибке, мне и понадобилось

столь длинное "музыкальное вступление".) Отвечавший написал вместо "предпочесть *Рихтера кинофильму*" "предпочесть *Рихтеру кинофильм*". Я подивилась тогда, что в газете, в название которой входит слово "культура" на письма отвечают недостаточно грамотные люди.

Я вспомнила этот давний случай, читая в газете "Известия" в номере от 24.1.95 статью А. Пушкаря "Любимые женщины Сергея Есенина". В ней рассказывается, в частности, что "три наркома – Луначарский, Дзержинский, Подвойский – рвались стать опекунами прекрасной Айседоры", она же, встретив Есенина, стала его женой. А выражено это так: "Но Дункан предпочла *сытых вождей пролетариата голодной петроградской богеме*". Как вы понимаете, автор хотел сказать прямо противоположное: ведь Айседора Дункан предпочла "голодную богему" (как автор статьи квалифицирует Есенина) "сытым вождам".

Приходится признать, что тогда, много лет назад, я была слишком строга к автору полученного мной ответа, не предназначавшегося для печати. Оказывается, такая ошибка может проникнуть на страницы едва ли не лучшей нашей газеты! Или так понизилась за прошедшие годы наша языковая культура?

Во всяком случае, будьте осторожны, употребляя конструкцию *предпочесть кого-что кому-чему!*

СЛОВО ПРОЩАНИЯ

16 декабря 1995 года на 72-м году жизни скончался действительный член Международной академии наук высшей школы, главный редактор журнала "Русская речь" профессор Валентин Павлович Вомперский.

По общему признанию отечественных и зарубежных ученых, Валентин Павлович Вомперский являлся и останется в нашей памяти крупным ученым — русистом. Он был членом Международной ассоциации истории риторики (с 1978 г.), тонким знатоком истории литературного языка, Учителем милостью Божией, подготовившим несколько поколений студентов факультета журналистики МГУ.

Журналисты Москвы и других городов страны хорошо знали и любили профессора В.П. Вомперского и часто приглашали его на теле- и радиопередачи. Кажется, не было такой радиостанции, на которой не звучали бы его всегда глубоко интересные выступления.

Биография В.П. Вомперского предопределила круг его научных и общественных интересов. В.П. Вомперский родился 3 июня 1924 года в г. Борисоглебске Воронежской области в семье служащих. Его мать Капитолина Дмитриевна Вомперская, учительница средней школы, привила сыну такие необходимые в будущем качества, как трудолюбие, любовь к знаниям, редким книгам, классической музыке и живописи. Эрудиция Валентина Павловича, его все запечатлевавшая память поражали всех, кто работал рядом с ним. Он закончил два высших учебных заведения: Борисоглебский учительский институт и затем филологический факультет Московского университета им. М.В. Ломоносова.

В 1950 году по рекомендации академика В.В. Виноградова В.П. Вомперский был принят в аспирантуру кафедры русского языка филологического факультета. По рассказам Валентина Павловича, особое влияние на него оказали лекции академика В.В. Виноградова, профессоров С.И. Ожегова и Е.М. Галкиной-Федорук. В 1953 году В.П. Вомперский был направлен на работу на кафедру стилистики русского языка факультета журналистики МГУ, где проработал 29 лет, пройдя путь от преподавателя до профессора. В 1959–1962 гг. он исполнял обя-

занности заведующего кафедрой стилистики русского языка, а в 1983 году был приглашен на работу в Институт русского языка АН СССР (а затем РАН) в качестве заведующего сектором лингвистического источниковедения и истории литературного языка. Валентин Павлович был также заместителем директора Института с 1983 по 1990 годы.

Высокая внутренняя культура, доброжелательность и участливое внимание к преподавателям, сотрудникам, студентам и аспирантам были присущи В.П. Вомперскому на протяжении всей его научно-педагогической деятельности. Достаточно сказать, что под его научным руководством 33 аспиранта защитили кандидатские диссертации.

Щедрость души, большая любовь к науке и трудившимся на ее ниве ученым снискали Валентину Павловичу глубокое уважение всех, кому приходилось с ним работать.

Придя в Институт русского языка РАН, В.П. Вомперский возглавил научные исследования по истории литературного языка. Считая себя учеником В.В. Виноградова, Валентин Павлович успешно продолжил изыскания в области исторической стилистики, исторической лексикографии и риторики. Особенно ценными являются монографии В.П. Вомперского: "Стилистическое учение М.В. Ломоносова и теория трех стилей" (М., 1970 г.); "Словари XVIII века" (М., 1986 г.), "Риторика в России XVII–XVIII вв." (М., 1988 г.).

Написанные В.П. Вомперским труды отличаются богатством и научной достоверностью материала, объективностью изложения исторических фактов, полнотой библиографических сведений. Серьезные и глубокие исследования В.П. Вомперского положительно оценены не только в отечественной русистике, но и за рубежом. В 1972–1974 гг. он был приглашенным профессором славянских отделений Гейдельбергского и Геттингенского университетов ФРГ, где читал лекции по различным дисциплинам русского филологического цикла.

В последние годы В.П. Вомперский работал над изданием филологических трудов выдающегося русского ученого П.М. Бицилли, жившего в эмиграции. Дело чести для последователей, учеников и аспирантов В.П. Вомперского – завершить эту работу и опубликовать ее.

25 лет Валентин Павлович Вомперский отдал журналу "Русская речь". В течение девятнадцати лет он был активно работающим членом его редколлегии, а последние шесть лет – главным редактором.

1989–1995 гг. – это время бурных перемен, время возвращения и объективного истолкования отечественной истории, нового подхода к национальным, культурным и языковым проблемам. Как главный редактор В.П. Вомперский стремился, чтобы руководимый им журнал шел в ногу со временем, видоизменялся, совершенствовался и по содер-

жанию, и по форме подачи материала. До последних дней своей жизни В.П. Вомперский писал для журнала статьи, предлагал актуальные темы, привлекал новых авторов.

Редколлегия и редакция “Русской речи” в лице Валентина Павловича понесли тяжелейшую утрату. В этой безграничной печали лишь уверенность в том, что богатейший опыт ученого, самые разнообразные знания, которые В.П. Вомперский вкладывал в журнал и дарил своим коллегам и ученикам, не пропадут с его уходом, останутся в традициях журнала, в памяти ума и сердца современников, – проблескивает искрой надежды и оптимизма.

От имени редколлегии журнала
“Русская речь”
Л.К. Граудина.
доктор филологических наук

Странствия Веверлей

А.А. ШУНЕЙКО,

кандидат филологических наук

Памяти В.П. Вомперского

Тему заметки об истории имени Веверлей подсказал мне покойный главный редактор нашего журнала Валентин Павлович Вомперский. И предупредил: “Опубликуем, если будет обоснованная гипотеза. Ведь бывает и так: получает редакция материал о существующем в Англии замке с именем Веверлей, а в нем не говорится, как название связано с персонажем веселой песенки, которую мы распевали во время дружных студенческих застолий, не зная о самом замке. Отсутствуют доказательства перехода одного в другое”. Прошло несколько лет, и теперь я могу предложить такую гипотезу, которую Валентин Павлович одобрил при последней встрече незадолго до его кончины, поэтому заметка посвящается его памяти.

Веверлей – имя незадачливого мужа, утонувшего во время купания, героя куплетов, носящих, несмотря на трагичность изображаемых в них событий, каламбурно-иронический характер с ощутимым оттенком черного юмора:

Пошел купаться Веверлей.
Оставив дома Доротею.
С собою пару пузырей
Берет он, плавать не умея.
И он нырнул, как только мог,
Нырнул он прямо с головою.
Но голова тяжеле ног,
И он остался под водою.
Жена, узнав про ту беду,
Удостовериться хотела.
Но ноги милого в пруду
Она, узрев, окаменела.
Прошли века; и пруд заглох.
И поросли травой аллен.
Но все торчит там пара ног
И остов бедной Доротеи

(Советская литературная пародия. М., 1988. Т. 1). Популярность этих незамысловатых строк поддерживалась их многочисленными пародийными переделками, дублирующими стиль известных советских поэтов.

Откуда взялся этот странный персонаж, благодаря чему язык пополнился еще одним именем собственным со значением нарицательного?

Время появления Веверлея на русской земле можно установить достаточно точно. История эта интересная и тесно связана с последующим ходом событий. Начнем с того, что английская фамилия Веверлей своей популярностью в России обязана вовсе не представителям туманного Альбиона, а французскому и русскому академикам Б.-Ж. Сорену и И.А. Дмитревскому.

Когда познакомишься с жизнеописаниями И.А. Дмитревского (1736–1821), в который раз поражаешься, насколько люди века Просвещения отличались от нынешних. В самом деле, и сейчас существуют блестящие актеры, прекрасно совмещающие театральную деятельность с педагогической и организаторской и даже (но это уже единицы) радующие нас неплохими литературными опытами. Но чтобы при этом человек был переводчиком, историком литературы и театра, академиком, высказывающимся по вопросам самых разных областей знаний (в том числе лингвистики), и занимался масонской деятельностью... Такое, согласиться, вообразить себе в нынешнем веке трудно. И.А. Дмитревский был именно таким человеком. Одним из его вкладов в отечественную культуру был перевод на русский язык пьесы Б.-Ж. Сорена “Беверлей”, ее постановка и исполнение в ней главной роли.

Мещанская драма “Беверлей” издавалась дважды: в 1773 и 1787 годах. Ее первая постановка датируется 11 мая 1772 года, следовательно, сценическая жизнь насчитывает не менее 15 лет и может считаться очень продолжительной, ведь речь идет о времени, когда большинство пьес сходило со сцены после нескольких представлений. Сейчас не актуально, была ли причиной популярности незамысловатость коллизии, блестящая игра актеров или живость языка, местами приближенного к разговорному. Важно, что пьеса ввела в культурный оборот тип и имя главного героя, закономерно измененное из-за перехода через две языковые границы. Можно предположить, что и сейчас давно сошедшая с театральных подмостков, она продолжает незримо присутствовать в виде своей искаженной тени – песенки про Веверлея.

Конечно, между пьесой и куплетами нет однозначных соответствий, но все же прослеживаются линии явного подобия. Это, условно говоря, ролевая характеристика главного героя и его смерть, отчаяние жены, место действия. Вспомним, что одна из привилегий пародии – причудливые трансформации исходного материала, и станет понятна неслучайность отмеченных параллелей. Следовательно, создатель песни ориентировался и на “Мещанскую драму”, но не только на нее.

Возможно, имя Беверлей, постепенно истаивая в памяти современников, так и не стало бы фактом русской культуры, не получи оно во второй половине XIX века совершенно новую жизнь благодаря переводам романа В.Скотта “Веверлей”. Здесь начинается второй этап истории имени, значение которого переоценивает Б.М. Сарнов, указавший в комментарии к стихотворению: “Веверлей – герой одноименного романа Вальтера Скотта”. Между тем, сам роман не обнаруживает никаких, даже отдаленных аналогов с песенкой. Он сыграл роль только

своеобразного “закрепителя”, актуализатора имени в сознании языкового коллектива, сделал его вновь популярным, но не служил первотолчком к созданию веселых куплетов про Веверлея.

Сами же строки, описывающие историю Веверлея и Доротеи, появились уже в начале XX века в легендарном издании, по общему мнению исследователей, положившем начало советской литературной пародии. Речь идет о сборнике “Парнас дыбом”. Он вышел в 1925 году в харьковском издательстве “Космос” и имел подзаголовок “Про: козлов, собак и веверлеев”; за короткий срок выдержал четыре издания, но после 20-х годов не переиздавался, распространяясь в машинописных копиях, пока в 60-е годы не появились публикации А. Раскина. Сейчас читатель может познакомиться с ним благодаря изданию 1989 года.

А. Раскину удалось установить имена авторов сборника. Ими оказались студенты и аспиранты, а впоследствии профессора Харьковского университета, филологи А.Г. Розенберг, А.М. Финкель и будущая детская писательница и переводчица Э.С. Паперная (Вопросы литературы. 1966. № 7). Именно они создали галерею великолепных стилизаций, остающуюся непревзойденной и поныне.

Три вехи истории имени Веверлей видны достаточно отчетливо: XVIII век – перевод И.А. Дмитриевским пьесы Б.-Ж. Сорена “Веверлей”, XIX – переводы романа В. Скотта “Веверлей”, XX – сборник пародий “Парнас дыбом”. Но остается еще один, не менее интересный вопрос – об авторстве. Тут приходится ограничиваться предположениями.

Языковой строй текста позволяет отнести его создание к концу XIX – началу XX веков. Дальше – область догадок. Перед нами может быть перевод с английского или оригинальное произведение. Остановимся на втором и внимательно прочтем куплеты еще раз, попытаюсь разглядеть за стилем автора. Песенка – пестрая смесь литературного и библейского (о жене Лота) сюжетов, наполненная скрытыми цитатами и оформленная в стилистической манере английских лимериков. То есть пародия, но не на конкретное литературное произведение, а на литературный процесс – и на драму, и на роман, и на сакральный текст, и на фольклорный. Вывод закономерен: создатель или создатели – квалифицированные филологи, обладающие незаурядным багажом знаний и замечательными качествами пародистов, то есть сами авторы сборника. Но они не писали отдельные тексты в соавторстве, следовательно, круг можно сузить. По свидетельству Л.Г. Фризмана, основным генератором идеи и главным автором сборника был языковед А.М. Финкель (1899–1968), он же полностью разработал тему Веверлея. Ни этому ли теоретику художественного перевода и блестящему стилизатору мы должны быть благодарны за веселые строки о печальной кончине Веверлея?